

АЛЕКСАНДР
СОБОЛЕВ

ГРИФОНЫ
ОХРАНЯЮТ
МИР

Р О М А Н



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИВАНА ЛИМБАХА

Александр Соболев
Грифоны охраняют лиру

«Издательство Ивана Лимбаха»

2020

УДК 821.161.1-3 «20»
ББК 84.3 (2=411.2) 6-4

Соболев А. Л.

Грифоны охраняют лиру / А. Л. Соболев — «Издательство Ивана Лимбаха», 2020

ISBN 978-5-89059-393-1

Действие романа происходит в 1950-е годы в России, слегка отличающейся от исторической. Главный герой, Никодим, узнает из случайной оговорки матери, что его отцом был известный прозаик, исчезнувший некоторое время назад при странных обстоятельствах. Никодим, повинувшись смутному чувству, пускается на его розыски. Череди примечательных происшествий и необыкновенных лиц, встретившихся на этом пути, составляет внешнюю фабулу книги. Написанный филологом и предполагающий определенную читательскую квалификацию роман может быть интересен и широкому кругу любителей отечественной словесности.

УДК 821.161.1-3 «20»
ББК 84.3 (2=411.2) 6-4

ISBN 978-5-89059-393-1

© Соболев А. Л., 2020
© Издательство Ивана Лимбаха, 2020

Содержание

Часть первая. Тихая сапа	6
1	6
2	9
3	13
4	15
5	18
6	20
7	23
8	25
9	30
10	32
11	35
12	38
13	42
14	46
15	49
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Александр Соболев

Грифоны охраняют лиру

© Соболев А. Л., текст, 2020

© Теплов Н. А., дизайн обложки, 2020

© Издательство Ивана Лимбаха, 2020



Часть первая. Тихая сапа

*В какую бурю ощущений
Теперь он сердцем погружен!*

Пушкин

*Есть кто-то страшный, он догонит.
Его уносит через сны
Корабль магической луны.*

Мандельштам

1

У Никодима была (помимо очевидной) еще одна причина запомнить 24 мая 195* года: в этот день его мать назвала ему имя его отца. Человеческая память умеет компенсировать определенные несовершенства собственного устройства, закладывая в свои хранилища некоторые ключевые моменты целиком, даже не мгновенным фотографическим снимком, а полным слепком, объемной звуковой и пахнущей картиной мгновения. Потом эта минута вспоминалась Никодиму как мизансцена тщательно продуманного спектакля (покрываясь, может быть, некоторой патиной по мере погружения во внутренний депозитарий): одна створка окна была приоткрыта, светлая штора шевелилась, как будто любопытствующий невидимый соглядатай с той стороны стекла приоткрывал ее, чтобы получше рассмотреть комнату; с Большого Козловского доносился обычный уличный шум – проезжали машины, дворник поливал мостовую, чтобы сбить пыль; доставалось воды и вязам, росшим по обе стороны переулка (про один из которых, ничем не выделявшийся в ряду близнецов, отчего-то говорили, что он видел Наполеона); лаяла собака. Кухня, на которой оба они сидели, больше всего напоминала то, как средневековые граверы, сроду не выезжавшие дальше своего Нюрнберга или Аугсбурга, изображали жаркие страны: джунгли – так уж джунгли, а вместо тигра – чудовищно увеличенная домашняя кошка с гипертрофированными зубами и когтями. Окно, балкон и все горизонтальные поверхности были уставлены горшками, в которых росли материнские, раздобревшие в холе тропические питомцы: сансевиерия, вымахавшая чуть не в человеческий рост, с ее зелеными мечевидными (и действительно острыми, как ножи) мясистыми побегами; широколиственные спатифиллумы, временами скупно цветшие белыми цветками, формой повторяющими листья, светло-зеленые хлорофитумы, свешивающие свои побеги, на которых образовывались новые молодые кустики, нелепо пускающие в воздух паклю блеклых корешков в тщетной надежде дотянуться ими до жирной, питательной родной почвы, оставшейся в тысячах километров к югу, – и еще десятки растений, названий которых Никодим не знал или забыл.

Вдоль створок широкого окна выстроены были особые стеллажи, на которых теснились экземпляры, особенно охочие до дневного света: шипастые кактусы, порой вдруг расцветавшие красными или оранжевыми розетками; светло-зеленые (мать говорила про них «цвета влюбленной жабы») литопсы, комковатые шарики невообразимых форм – то напоминающие уродливо преобразенные части человеческого тела, то вообще что-то, непонятно как появившееся в природе. Отдельным строем стояли горшки с фиалками, чьи мохнатые листья и пря-

молинейные цветки скрывали, вопреки ожиданию и рекламе парфюмерных фирм, тяжелый неприятный запах; орхидеи-башмачки, не имевшие запаха вовсе: капризные, медленнорастущие, с пятнистыми листьями, между которых вдруг, очень редко, появлялся, к тайному торжеству садовницы, кончик цветоноса, грозившего через месяц-два вспухнуть чудовищным бутонном, из которого вылезал исполинский цветок с развратной розовой губой, двумя широкими лепестками и полосатым парусом над ним.

Никодим сидел у кухонного стола на старом крутящемся стуле без спинки, явно намекавшим на свое музыкальное прошлое, но вотще: в доме сроду не было ни клавикордов, ни фортепьяно и никто не умел играть. За спиной у него был книжный шкаф, которому тоже, очевидно, нашлось бы что сказать стулу, если бы между ними вдруг завязалась беседа: две полки были заняты сборниками рецептов – от надменного «Я никого не ем» покойной жены художника Репина (Никодим в детстве всегда воображал встречу автора с леопардом-людоедом: «А я-с не откажусь») до классической Молоховец; еще на одной теснились самоучители: «Русский во Франции», «Русский в Италии», «Как правильно играть в вист»; в углу, переплетами выражая чувство собственного достоинства, стояли лечебники – гомеопатический, целебного массажа, тибетский – и классическая фармакопея. На двух же полках, под специальными лампами, распространявшими розовый блеклый свет, поневоле напоминавший о лучах солнца, пробивающихся сквозь утробу к раскрытым в изумлении младенческим глазкам, зрела рассада.

Мать стояла вполоборота к нему у плиты, следя за вскипающим кофе в медной джезве: как у всякого одинокого и праздного человека (она жила на небольшую ренту и не работала в жизни ни дня), любые бытовые занятия обрастали у нее сложными ритуалами, отступление от которых было сродни святотатству. Кофе она покупала в лавочке колониальных товаров у Красных ворот, причем старалась попасть туда в часы, когда сам владелец, мосье Патель, стоял за прилавком: годился только определенный сорт зерен, собранный там-то и обжаренный так-то. Молоть его следовало прямо перед приготовлением, в особенной ручной мельничке; регламентировалось чуть ли не количество оборотов ручки. Далее надо было взять три ложечки с верхом, положить в джезvu, добавить туда же гвоздичку, зернышко кардамона, ложечку тростникового сахара (от того же мосье Пателя) и все это, залив водой и водрузив на плиту, медленно подогревать до готовности. Конечно, именно в эту минуту, когда ароматный кофейный шар медленно вспухал в раструбе сосуда, случались маленькие происшествия: соседка заходила за рецептом, звонил телефон, почтальон приносил телеграмму – и готовому напитку, воспользовавшись случаем, удавалось улизнуть, замарав на прощанье белоснежные окрестности конфорки и залив газовое пламя, так что, вернувшись на кухню, мать обнаруживала шумное холостое шипение и острый газовый запах. Приобретая с годами склонность к непродуктивному беспокойству параноидального склада, Никодим, среди прочих кошмаров, представлял себе и этот: наговорившись вдоволь с неожиданным визитером, мать возвращается на кухню, держа в руке свою обычную тонкую египетскую пахитоску, – и, открыв дверь, исчезает в огненном облаке.

Воспитанный ею с излишнею, может быть, сухостью и уж точно без всякой сентиментальности, он скорее отгрыз бы себе руку, чем рассказал бы ей об этом повторяющемся кошмаре, – но сейчас, сидя за столом и крутя в пальцах неизвестно откуда прибудившуюся кофейную чашечку от кукольного сервиза, он смотрел на нее с каким-то тянущим беспокойством: невысокого роста, ладно скроенная, со светлыми короткими волосами, она выглядела моложе своих пятидесяти с чем-то лет, но Никодим отстраненно замечал отдаленные приметы надвигающегося дряхления: появившуюся вдруг склонность к легкой эхололии, заставлявшую ее иногда повторять последнее слово, а то и фразу собеседника; гипертрофированную тщательность мелких движений, маскирующую, как ему показалось, легкий тремор, появляющийся порой в ее тонких пальцах, свободных от колец и перстней, всего того, что она клеймила цыганщиной. «Твой отец, писатель Шарумкин, – сказала она вдруг, прервав затянувшуюся паузу, – всегда

говорил, что мой кофе сперва невыносимо ждать, а после невозможно пить». «Ах», – подумал Никодим.

2

Спускаясь пешком вниз по парадной лестнице, где, как было принято в Москве, пахло кошками (хотя никаких животных в доме сроду не водилось), он с легким недоумением припоминал, насколько небольшое место мысли об отсутствующем отце занимали в его жизни. Умом он понимал, что событие, приведшее к его появлению на свет, требовало двоих участников; столь же очевидным было для него, что у многих его знакомых отцы налицествовали хотя бы в прошлом, – а кое-кто и здравствовал, не всегда оказываясь при этом украшением сыновней жизни. Несколько раз в детские годы задав матери соответствующий вопрос и не получив от нее не то что вразумительного, но вообще какого бы то ни было ответа, он как-то внутренне уверился в том, что этой части биографии он сизмальства попросту лишен – как иной рождается без музыкального слуха, а то и чего-нибудь более существенного, например руки или ноги. Со временем, когда отношения полов перестали для него быть секретом, он иногда, в раздражении или просто в приступе игривости ума, пытался вообразить, как держалась его мать рядом с его отцом: вечно спокойная, рассудительная, с насмешливым взглядом зеленоватых глаз, одинаково ровно говорящая хоть с швейцаром, хоть с князем В-ским, председателем садового клуба, – менялась ли она в лице, когда видела его? Целовала ли его сама или сносила его поцелуи? Брала ли за руку? Вообразить все это было решительно невозможно.

Может быть (думал Никодим, сворачивая на Боярский и двигаясь к Садовому кольцу), дело оказалось в изначальном разделении сфер мужского и женского: насколько в Поливановской гимназии, где он провел девять скучных, хоть и беззаботных лет, безраздельно царили мужчины (девочек стали туда принимать – и то со скандалом и препонами – лишь в последний год Никодимова обучения), настолько дома все было устроено, исходя из женского практицизма. Трясая школьным утром в трамвае со своей Мясницкой части на Пречистенку, он воображал себя переезжающим через границу двух государств не то чтобы враждующих, но соблюдающих вооруженный нейтралитет. В приземистом школьном здании с девятью колоннами (местный фольклор сохранил целый выводок шуток, рифмовавших их число с количеством школьных лет), похожем больше всего на захиревший северный подвид какого-то пышнотелого греческого храма, висели портреты отцов-основателей и прославленных выпускников; среди последних выделялся безумными глазами и застывшей изломанной мимикой покойный Кобылинский, незаконнорожденный сын самого Поливанова, маг и розенкрейцер, сыгравший ключевую роль в обороне Москвы 1918 года и не вынесший напряжения душевных сил. Прах его, по собственной его просьбе, был тогда развеян где-то под Клином, с наспех сколоченного юнкерами кремлевской роты зиккурата, на котором он провел последние решающие дни битвы, но многие поколения учеников клялись, что дух его до сих пор бродит по школьным коридорам.

Здесь все было демонстративно мужским: торчали седые бороды на портретах, топорщились они въяве у профессоров, преподающих латынь, геометрию, греческий, немецкий. Последнему обучал обрусевший швейцарец Жан Карлович – хрупкий, почти фарфоровый на вид, с младенчески розовым челом, просвечивающим через белоснежный пушок. Страдал он нервным тиком, потешно пугался громких звуков и обладал той особенной пластикой, немужской экономной томностью движений, значение которой Никодим осознал уже в позднем отрочестве, – и все равно, даже Жан Карлович был плоть от плоти этого маскулинного царства. Одна раздевалка в спортивном крыле, по одному отхожему месту на этаж, непременно приветствие «доброе утро, господа» и даже полностью мужская прислуга, от поваров до буфетчика Пастилы, – все это не учитывало различия полов и не предполагало его.

Напротив, направляясь в куда лучшем настроении в сторону дома, Никодим чувствовал, как налипшая за день, как ракушки на корпус корабля, мужская чепуха отваливается с его

души, не выдерживая столкновения с жизнью за пределами гимназии: выветривается затхлый запах спортивного зала, тускнеют на глазах чернильные пятна, пещрившие руки, сам собой ослабляется галстучек и легчает ранец. Из мира схоластической муштры, где вялые, ветхие учителя презрительно пичкали его с товарищами крошками древней мудрости, он вплывал в домашнее царство логического удобства, где предметы были равны самим себе, прошлого не существовало, а будущее не стоило того, чтобы о нем задумываться.

В этой схеме места для отца предусмотрено не было, но просто отмахнуться от факта его – бывшего или действительного – существования тоже было нельзя. На школьной молитве, некогда отмененной демократически настроенным гимназическим начальством, но снова ставшей обязательной примерно с середины двадцатых, регулярно повторяемое «отец» или «отче» откликалось в Никодимовой душе чувством какой-то собственной тайны: собственно, иконографическая многоликость Бога как бы провоцировала его на эти слегка кощунственные мысленные упражнения: он представлял Его не тучным стариком, по-кучерски восседающим среди облаков, и не изможденным страдальцем, а кем-то почти партикулярной внешности, средних лет и немного похожим внешне на самого Никодима. Со временем он, сам того не сознавая, поместил образ отца среди домашних божеств – и носил в душе его смутноватый абрис среди прочих покровителей – на манер древнего римлянина со своими пенатами. Позже, прочитав в отрочестве «Таинственный остров», он с мягкой теплотой узнал отца в капитане Немо: волшебном покровителе, приходившем на помощь в минуту смертельной опасности. Тринадцатилетнему Никодиму не терпелось проверить открытие: малярии взять было неоткуда, но кстат подвернулся коклюш: начавшись с обычной перхоты, он быстро перерос в гулкий, лающий мучительный кашель, терзавший шуплую Никодимову грудную клетку, особенно по ночам. В полуночном бреду ему казалось, что в груди у него завелась какая-то птица, бьющая крыльями и рвущаяся прочь, пробивающая себе дорогу. Собственно, он представлял ее очень четко: с грязно-белыми крыльями, розоватым гребешком (тут явно примешивались впечатления от мясных рядов на рынке, где курицы раскладывались, как в наглядном пособии для урока естествознания, так сказать, *ab ovo*), но с хищным загнутым клювом и грозными грязно-желтыми чешуйчатыми лапами. Вертясь в кровати под плотным одеялом, он воображал поединок, в котором воображаемый отец с иконописным ликом и соответствующим образом оружием, чуть ли не копьем, вступит в единоборство с терзающим его изнутри монстром; горячка нивелировала несообразицу с размерами – либо родитель должен был оказаться миниатюрным, либо пернатый узник собирался быть человеческих габаритов. Особенно обидно было, что сам миг сражения он бестолково проспал, хотя и клялся себе не упустить его, – и проснулся вдруг одним прекрасным утром от беглого прикосновения сухих губ матери к своему, за ночь выздоревшему, лбу. Была сильная метель, за окном чуть наискось летели крупные снежинки, и на месте не дававшего спать чудовища чувствовалась теплая пустота, а вместе с ней растворяющееся ощущение сбывшегося чуда, слишком собственного, чтобы о нем можно было кому-нибудь рассказать.

Вопреки ожиданию, чувство это растворилось не безвозвратно: Никодим носил его с собой, почти не осязая (как человек не ощущает, например, свою поджелудочную железу, покуда та не заболит): эта мягкая теплота любовного присутствия, некая дополнительная страховка всегда была при нем. Он пытался вообразить ее, но выходили всё какие-то комиксы из воскресного приложения к «Русскому слову»: то представлялось ему, что к поясу его прикреплена невидимая нить, которая поддержит его в случае падения; то виделся какой-то бородатый профиль, с усмешкой за ним наблюдающий, – и воображение глумливо пририсовывало ему бинокль, а то и подзорную трубу. Впервые полетев на самолете (а для поколения наших дедушек это был опыт не чета нынешнему), Никодим всерьез беспокоился, успевают ли его тайный спутник следовать за ним, не холодно ли ему на страшной высоте и не угнетает ли его необ-

ходимость лететь в толпе подобных (как видно, он не сомневался, что другие люди ощущают что-то в этом же роде, но по молчаливому уговору не спешат распространяться об этом).

Находил он и живые следы вмешательства в собственную и материнскую жизнь. Собственно, сами источники их скромного пропитания располагались в той же области таинственного: мать происходила из старинного дворянского рода, давно обедневшего; отец ее (а Никодимов дед) после смерти жены и еще до рождения внука постригся в монахи где-то в Костромской губернии. Для тех, кто принял постриг, побыв в миру и даже прижив ребенка, монастырские правила отличались особой строгостью: грехи молодости требовалось замолить. Дед в этом отношении явил полное понимание и сочувствие: с истовостью неопфита выполнял он всякое назначенное ему послушание, так что к исходу нескольких лет заслужил у братии полное прощение, но на этом не остановился, а, напротив, брал на себя новые подвиги: ходил во вретище и веригах, оставался зимой босым, а к концу сороковых принял обет молчания и уединился в скиту, где одними ногтями, без помощи каких-либо инструментов, выцарапывал себе гроб из ствола вековой лиственницы, упавшей в ураган лета 194* года. Тогда же мать Никодима в последний раз ездила повидать его: поездом до Костромы, а оттуда чуть ли не дилижансом в сторону Шарьи, где нужно было, в свою очередь, нанимать мужика с телегой. Рассказывала она об этом скупно, напирая на юмористическую сторону дела, благо ночевки на постоянных дворах могли служить бесконечным источником сардонического вдохновения. Чувствовалось, впрочем, что ей было не смешно: добравшись до монастыря, к неудовольствию тамошней братии, непривычной к светским паломникам (она была не религиозна), а уж тем более к родственницам монахов, она не могла даже переночевать там, а вынуждена была искать приюта в ближайшей деревне, в обычной крестьянской избе. Ей, как городской гостье, да еще состоявшей в родстве с весьма почитаемым схимником (вероятно, не без надежды на отблеск родительской благодати), постелили почетное место на печи, в соседстве с иссохшей умирающей старухой; остальные же устроились вповалку на полатах и на полу, вперемешку с мелкой скотиной. Ночь эта, по-северному короткая, запомнилась ей надолго: свирепствовали насекомые, стонала старуха, среди ночи запросившая пить и направлявшая гостью сварливым шепотом на поиски ведра и туска, мекали новорожденные козлята – и все это заглушал густой рев слетевшихся на свежатику комаров. На следующий день, после почти бессонной ночи, хозяин избы отвез ее в монастырь: братия подготовилась держать круговую оборону, отправив ей навстречу самого, вероятно, дряхлого из монахов – либо разумно предполагая, что никакие мирские соблазны на него не подействуют, либо считая, что, если он сам впутается в дьявольские силки, им в крайнем случае можно будет и пожертвовать. Был он глуховат, бестолков и во время беседы (несколько односторонней) все время норовил заснуть. Из его не всегда последовательных ответов мать Никодима смогла добиться лишь того, что отец Паисий («это мой отец», – хотелось ей воскликнуть) никого не принимает, в разговоры по обету не вступает, а в монастырскую церковь ходит лишь по большим праздникам; братья же приносят ему раз в день кувшинчик с водой и кусочек хлеба, каковой хлеб пекут сами по старинному рецепту (которым, между прочим, могут и поделиться с благословения отца-хлебопека). Посетительница, во все продолжение выдаваемого рассказа медленно свирепевшая, чему особенно способствовали чесавшиеся от укусов места, пообещала старцу, что если сейчас ее немедленно не отведут к отцу, то она выйдет на середину монастырского двора (где рос огромный куст облепихи), там разденется и будет загорать, лежа на травке. Монашек удалился на совещание. Из-за двери слышались шепоты, стук подошв и, кажется, даже позвякивание цепей. В результате к ней выслан был новый парламентар, значительно более юный и еще менее разговорчивый: поманив ее за собой, он вывел ее за территорию монастыря и повел по тропинке в лес. Она не успела еще испугаться или рассердиться, как провожатый сделал жест, предписывающий молчание: впереди на поляне стояло сооружение, больше всего напоминающее автобусную остановку где-то в глуши либо картинку из «Всемирного путешественника», изображающую севе-

роамериканские трущобы: хлипкий навес, сколоченный из каких-то обломков, больше всего походивших на остатки кораблекрушения, – вот только ближайшее море было в тысяче километров. Спinoй к ним стоял невысокий, худой, изящно сложенный мужик с длинными волосами, заплетенными в косу, одетый во что-то вроде платья из мешковины, и что-то делал с деревом, мыча себе под нос; в такт мычанию раздавался легкий мелодичный звон, шедший от вериг, которыми были скованы его руки и ноги. Поглядев на него несколько минут, она развернулась и пошла прочь; монашек еле поспевал за ней.

Уйдя неожиданно из мира, дед Никодима (будущий о. Паисий) не оставил дочери ничего: не любив расспросы, даже сыновние, она обычно отвечала куда как скупое, непременно осведомляясь в ответ особенным материнским голосом, все ли уроки сделаны и не пора ли ложиться спать. Сложив мозаику из разрозненных фрагментов, Никодим выяснил, что жили они либо в Ярославле, либо в одном из его ближайших пригородов, что мать его была единственным ребенком в семье, что незадолго до смерти своей матери она уехала в Петербург учиться на Бестужевских курсах, а отец, прельстившись уговорами одного из бывших однополчан, пустился в какие-то биржевые спекуляции с акциями волжских пароходств и прогорел; в счет долгов отобрали дом, жена его заболела и скоропостижно скончалась – и все это произошло в течение нескольких месяцев.

Здесь в биографии ее оказывалось темное пятно, свет над которым она никак не хотела рассеять: следующий эпизод – спустя несколько лет она переселяется в Москву и оказывается владелицей небольшой квартиры в Мясницкой части, в которой Никодим родился и вырос, а также обладательницей скромного состояния, которым управлял консервативнейший из российских банков, настолько блюдуший собственную древность, что ежегодные отчеты его печатались по старой орфографии, вся переписка велась от руки и чуть ли не гусиными перьями (последнее, впрочем, смахивало на анекдот). Четырежды в год появлялся курьер Никита Иванович Меликенцев, банковский мальчик, бывший таковым, впрочем, только по званию, ибо был он дороден, седобород и страдал зимой от ознобов, весной от аллергии на пыльцу, летом от одышки, а осенью от ревматизма, который по старинке называл рюматизмом. В последнем термине Никодиму слышался, впрочем, предуведомительный намек, поскольку мать всегда проводила его на кухню и наливала ему рюмку настойки, которую он медленно выпивал, держа на коленях форменную фуражку (ветшающую год от года) и шумно жалуясь на погоду (всегда в этот день как назло превосходную). Привозил он чек со скопившимися за квартал дивидендами: крупный плотный лист с орнаментальной рамкой, больше похожий на грамоту за беспорочную службу или акт о капитуляции. Вежливо с ним простившись, мать отправлялась буквально по его следам обратно в банк, где столь же внушительный кассир в мундире принимал у нее этот же чек, осматривал его, глядел на просвет, чтобы сличить водяные знаки, после чего оформлял зачисление денег на счет, важно записывая поступления в одну и другую бухгалтерские книги; небольшая сумма выдавалась здесь же золотом, серебром и ассигнациями на мелкие расходы. Жили Никодим с матерью скромно, так что сумма была невелика.

3

Имелись и более свежие следы отцовского присутствия. Несколько лет назад, примерно в такой же весенний день, Никодим, бывший уже студентом, но еще не переселившийся в отдельную квартиру, шел по одному из переулков в районе Малой Бронной. Громадный трехэтажный дом на углу, принадлежавший братьям Гирш, был ему хорошо известен: исстари здесь селилось московское студенчество, так что этот и соседние дома в просторечии назывались гиршами. По какой-то надобности ему нужен был адрес в районе Молчановки, среди путаных переулочков, тянущихся до Собачьей площадки; он перешел Мерзляковский и, почти подойдя к угловому гиршу, заметил краем глаза наверху какое-то копошение: двое рабочих в подвешенной люльке то ли мыли окна в полукруглой, напоминающей черепаху мансарде, то ли подкрашивали окрестности карниза, обрамлявшего то место, где она вращалась в здании. Никодим успел лишь ступить на тротуар, как услышал голос, позвавший его по имени: мужской, но тонкий, почти тенор, с волжским оканьем и акцентом на второй слог. (Так всякий обладатель редкого имени, привыкнув диктовать его по слогам в присутственных местах, поневоле приобретает привычку к погрешностям против произношения.) По некоторой склонности к уединению, не перераставшей, впрочем, в полное угрюмство, знакомых у Никодима было немного, а в этой части города, пожалуй, и вовсе никого, что, конечно, не помешало ему, как почти всякому в такой момент, остановиться и заозираться. Улица была странно безлюдной: только в скверике перед церковью закутанная не по погоде татарка выгуливала крупную лохматую квелую собаку, которая лениво обнюхивала розовые кусты, да уличный мальчишка, пробегавший мимо с бильбоке, виртуозно подбрасываемым на ходу, вдруг остановился и посмотрел на него совсем не детскими глазами и со странным выражением лица. Никодим, пожав плечами, двинулся дальше – и в это время перед ним сперва пролилась струйка розовой краски, образовав на тротуаре раскидистую лужицу, а следом за ней с нарастающим грохотом повалилась люлька с одним из маляров. Это был худой жилистый мужик с актерским бритым лицом; голова его с гулким звуком стукнулась об асфальт; глаза закатились, и на губах показалась пена. Его напарник, суматошно крича, висел, чудом уцепившись за карниз. Улица вдруг пришла в движение: из парадной бежал швейцар, выкрикая дворника, заголосили какие-то бабы, засвистел городской; сверху, из слухового окошка, протянулись, как в балладе Жуковского, две огромные руки и втянули везучего напарника вовнутрь. Никодим оглянулся: ни татарки, ни мальчика уже не было, только одна собака сидела у края тротуара и смотрела на него.

Тот случай Никодим безусловно числил по разряду вмешательств свыше, но были и другие – может быть, менее яркие и бесспорные, но тоже толковавшиеся им однозначно в пользу высшего неравнодушия к своей судьбе. Если бы ему сказали, что он суеверен, он бы вспыл: черные коты и число тринадцать не вызывали у него никаких чувств (разве что котов, по врожденному сочувствию к изгойству, хотелось подбодрить). При этом обыденная его жизнь была пропитана мелкой назойливой мистикой: идя по улице, он перешагивал через трещины в асфальте; следуя по кафельной плитке, подгадывал шаг так, чтобы подошва не пришлась на междуплиточный стык; слегка, не привлекая внимания, придерживался пальцами за воображаемый поручень и, главное, все время загадывал: если первым придет автобус такой-то, то случится (в положительном смысле) то, что занимало в это время его мысли. В этих бесконечных внутренних пари сколько было места мелкому жульничеству, невинной мухлежке и натяжке! Неудовлетворительный результат мог быть объявлен небывшим из-за (совершенно мнимого) нарушения условий; либо мог он быть сочтен прикидочным, тренировочным, а настоящим, уже решающим должен был оказаться следующий – и так, покуда расклад не делался благоприятным. Загадывал он таким образом, впрочем еще в раннем отрочестве, и на темы, связанные с отцом, – и выходило, как всегда, неоднозначно и многозначительно: вроде бы он действи-

тельно существовал и Никодим был ему небезразличен, но вот по поводу их будущей встречи мелкие божества, управляющие движением событий вокруг Никодима, приходили в растерянность: встреча вроде бы оказывалась обещана, но без конкретных деталей. Впрочем, размытость эта не мешала общему чувству мягкой и доброй силы, сопровождающей его, невидимой страховки, туманного пятна за правым плечом, из которого в нужную секунду готова была соткаться крепкая рука, чтобы поддержать его под локоть, или мог прозвучать негромкий шепот, чтобы поправить или остеречь. И теперь эта смутная теплота получила собственное имя.

4

Никодим был далек от литературы: как существует в природе абсолютная музыкальная глухота, когда человек любое гармоническое сочинение, исполняемое лучшим оркестром, воспринимает как набор несостыкованных между собою отдельных (и не слишком приятных) звуков, – так любой художественный текст казался ему просто набором слов, ведущим к смыслу нарочито окольной тропой. В гимназии однажды выступал приглашенный лектор, фамилия которого забылась за ненадобностью: там принято было звать модных ученых, эпизодических властителей дум, чтобы побаловать учеников прикосновением к передовой умственной культуре. Выглядело это обычно куда как скучно, но посещение было обязательным. Лекции читались в большой зале на втором этаже, которая в обычные дни использовалась для общей утренней молитвы: гимназисты выстраивались в каре, от младшего класса к старшему, но самые крупные оказывались в результате рядом с малышами – что, думал Никодим, обоняя запах мастики, которой ежеутренне натирали паркет медового цвета, символизирует дурную бесконечность учения. В широкие окна било солнце, в лучах которого плясали тучи пылинок, пока школьники, благочестиво потупившись или, напротив, подняв очи горе, повторяли слова молитвы в унисон с преподавателями, сбившимися в круг посередине. Напоминало это отчасти какую-то батальную сцену, пленение пришлых пожилых бородачей пассионарным туземным племенем, тем более что двое-трое среди учителей – в рамках осторожной фронды или будучи иноверцами – игнорировали общий молитвенный гул, а, напротив, не без вызова посматривали вокруг; отец Иероним, из бывших военных, маленький, плотный, рыжебородый, ершистый, как будто нарочно старался кадить поближе к таким вероотступникам в тщетной надежде, что ритуальный дым пробудит в них добрые чувства, либо просто мстительно ожидавший, что те расчихаются.

В дни лекций сразу после молитвы начиналась суэта: педели, кряхтя и вполголоса жалуюсь, тащили ряды складных стульев, расставляя их амфитеатром вокруг пустоты, сразу приобретающей особенное значение; когда все было готово, сам Бонифацыч, бессменный швейцар, руководитель дворников, повелитель буфетчиков и вообще предводитель всей гимназической obsługi, вытаскивал древнюю кафедру, помнившую еще ерзанье локтей, запинки и отхаркивания отцов-основателей, которые, казалось, с выражением осторожной приязни на черно-белых лицах наблюдают с портретов за тщательным соблюдением ритуала. Кафедра ставилась точно посередине паркетного круга, в перекрестье взглядов будущих зрителей; затем на нее водружался графин розоватого стекла с притертой черной пробкой в виде головы пуделя (оригинальную розовую в былинные времена швырнул в зрительный зал некий легендарный лектор, взбешенный репликами и засветивший прямо в лоб зоилу – и ее так и не нашли), два пустых стеклянных стакана (один запасной) – и все делалось готово к сверхурочным занятиям.

Лектор, вспомнившийся Никодиму, приехал из Петербурга, где некоторое время был локальной знаменитостью, прокламируя новый взгляд на искусство. Назывался этот взгляд мудреным словом, сочетавшим, кажется, латинский и греческий корни, но сам его принцип гимназистам неожиданно понравился. Лысый, как колено, картавый, косноязычный, постоянно посматривающий на часы (чтобы не опоздать к «Великокняжескому экспрессу», догадались в зале), он в энергичных выражениях предлагал за любым произведением искусства, чтобы понять его во всей полноте, прозревать его вещественную суть. Глядя на картину с изображением Сусанны и старцев (которую тут же показывали на стене при помощи волшебного фонаря), предлагалось видеть не томную стыдливость героини и не предприимчивость козлобородых ловеласов, а деконструированные составные части: дерево рамы, нити холста, пигменты красок. Лектор шел дальше: «Дерево (у него получалось «дегево»), – восклицал он! – Что это – дуб? Ясень? Береза (бегеза)?» Каждый из этих вариантов он рассматривал с точки

зрения пригодности для рамостроения, переходя затем к чистой дендрологии: какие породы деревьев были более характерны для того места и времени, где создавалась (он говорил «конструировалась») картина, как эти деревья растут и размножаются, как их рубят, разделявают, сплавляют по реке По, специальным образом ошкуривают и промаривают олифой.

Далее он переходил к холсту: рассказывал, как выращивают лен, как его теребят, мнут, молотят; увлекшись, изображал крестьянку, как-то сноровисто обращающуюся со снопом; затем показывал, как его прядут, как после ткут, – сыпались термины (сильно смазанные благодаря проблемам с артикуляцией), мелькали живые картины – и действительно статическая живопись меркла и блекла на фоне буйного, пышного, пахучего многолюдного труда, сконцентрировавшегося в этом мерцающем прямоугольнике. Далее он перешел к пигментам, что потребовало еще более головокружительных экскурсов в окружающий мир. Он рассказывал про кошенильного червеца, маленькое бесцветное насекомое, живущее где-то на границе безжизненной пустыни, чья ярко-красная кровь столетиями давала художникам самую яркую и единственно нетускнеющую алую краску; про бухарский камень лазурит, который верблюжьи караваны везли за тысячи километров, чтобы оттенить красную краску голубой, про желтую серу и черный уголь.

Потом, отбросив картину (а точнее, погасив ее изображение), лектор перешел к театру: «К чегту маленьких 'йебедей», – восклицал он, быстрыми, точными репликами анатомируя балетное представление так, что за воздушным танцем (хорошо знакомым аудитории: гимнастам полагались бесплатные билеты на галерку) проступали годы мучений, диет, тренировок, деформированных суставов – и над воображаемым просцениумом повисал горький запах однополой любви, пота и интриг. Представление это готово было длиться и далее – но посередине антибалетных филиппик из первого ряда, где она сидела рядом с подремывающим Бонифащичем, поднялась ассистентка лектора, явственно (и даже демонстративно) напоминавшая Сусанну с картины, – и поманила его прочь, универсальным жестом продемонстрировав часы, так что тот вынужден был в нескольких комканных фразах резюмировать, попрощаться и сойти со сцены. Лекция запомнилась – и ниспровержением авторитетов (еще не одну неделю преподаватели эстетики и музыки отпускали напрасные и запоздалые шпильки по адресу заезжего гостя), и узкобедрой ассистенткой, и, главное, индальгенцией на художественную глухоту, оптово выписанной ученикам.

Театр, опера, балет и кинематограф были Никодиму в принципе понятны, хотя и не слишком симпатичны: он не отлынивал от школьных полуоязательных походов, хотя при дефиците билетов в дни премьер, бенефисов или визитов в Москву представителей императорской фамилии сам никогда не вызывался в зрители. Повзрослев, ходил иногда с компанией или вдвоем с барышней, но за репертуаром не следил и новинками не интересовался. Музыка, напротив, занимала его: в какой-то год он даже купил абонемент в консерваторию, но примерно к середине его действия заметил, что обстоятельства всегда поворачиваются к нему не тем боком: аккуратно в назначенные дни происходило что-то неприятное или как минимум досадное – приступ кашля (с которым лица желчного склада, напротив, непременно идут в концертный зал), мелкая дорожная авария, отнимавшая ровно те двадцать минут, которые готовы были прощать строгие московские капельдинеры (чья напускная суровость, впрочем, смотрелась темперированной приветливостью на фоне их легендарных киевских и варшавских коллег), либо просто необъяснимый пароксизм забывчивости, заставлявший его спохватываться через битые полчаса после начала и на другом конце Москвы.

А вот литература оставляла его целиком и полностью равнодушным. Поливановская гимназия, по праву гордившаяся своими прославленными поэтами-выпускниками, придавала особенное значение преподаванию словесности. Кафедра истории литературы процветала, насчитывая шесть, кажется, профессоров и изрядное количество доцентов, ассистентов и даже лаборантов, смысл существования и область действия которых оставалась таинственной, но

необходимость диктовалась традицией, которую свято чтители. На уроках читали стихи и прозу на двух древних и четырех европейских языках – и старенький Алексей Александрович Мясново, преподаватель латыни, ежегодно всхлипывал перед классом, дойдя до особенного места из Вергилия и немея перед величиим строки и неспособностью внушить нужное почтение двум десяткам шалопаев, чьи имена и лица он перестал запоминать и различать уже четверть века назад. Насмешливый взгляд одного из знаменитых предшественников, крупнейшего среди здравствующих поэтов современности, чьим именем были названы улицы, площади, рыболовецкий сейнер, тяжелый бомбардировщик и даже деревенька в Воронежской губернии, где он сроду не бывал и проездом, встречал ученика и просто посетителя с первых же секунд: его бронзовый бюст, сработанный некогда А. С. Г-ной, высился прямо напротив входной двери, проникая своим металлическим взором непосредственно в душу пришлеца. Так происходила первая прививка его немзыкальных, раздражающих, каких-то дребезжащих, но фантастически и против воли запоминающихся стихов, которые сопровождали поливановца все годы обучения: от диктантов в первом классе до обширных эссе «Что сказал бы NN, если бы услышал о...» в выпускном. На проверку последних порой заявлялся и сам NN: грузный, тяжело переваливающийся с ноги на ногу, как дрессированный цыганский медведь (последние представители этого вымирающего племени еще нет-нет да и забредали в окраинные московские кварталы), презирующий цивилизацию: в частности, едущий на старом «роллс-ройсе», управляемом столь же старым шофером-камердинером. Последний был миниатюрен и сух, как вобла, так что видевшим его вместе с шефом казалось, что плоть, дарованную изначально каждому из них, они поделили как мужик и медведь: одному достались вершки (то есть мышцы с подкожным жиром), а второму корешки – кожа да кости. Никодим на выпускном экзамене писал как раз эссе такого рода, выбрав сам (но, кажется, не без подсказки преподавателя) – «Что сказал бы NN, узнав, что его все забыли». Писал он там вполне очевидные вещи – что NN, начинавший декадентом и ниспровергателем основ, продолжавший умелым и успешным издателем, руководивший ежедневной газетой, заседавший в Думе, воспитывавший молодых поэтов в специальных выездных симпозиумах (где, по слухам, античная простота практиковалась не только в области стихосложения), пачками подписывавший в семнадцатом году смертные приговоры красным, канонизованный и коронованный при жизни, вряд ли обратил бы внимание на такой пустячок, как внимание или невнимание действующего поколения. На экзамене NN, прочитав это (Никодиму запомнился вороватый жест профессора, пытавшегося засунуть его странички поглубже в стопку), слегка подвигал нижней челюстью, отчего стал сразу похож на старую мудрую черепаху, и поднял на Никодима, по традиции стоявшего рядом с креслом почетного гостя, свои болотно-зеленые глаза: правый был с бельмом, но левый живо поблескивал из-под складчатых век. «Далеко пойдете, молодой человек, – сказал он скрипучим голосом, – далеко, далеко пойдете, молодой, пойдете веко, чело» (язык ли его заплетался от старости, или просто старому речарю и слововержцу, по собственной характеристике полувековой давности, захотелось пошалить). На этом аудиенция была окончена – и одновременно завершились, не начавшись толком, познания Никодима в литературе XX века. Впрочем, несмотря на всю его холодность к предмету и глубину незнакомства с ним, имя Шарумкина было ему небезызвестно.

5

Да и вряд ли нашелся бы в России этих лет такой человек, который бы о нем никогда не слышал. Слава пришла к нему в начале сороковых, после выхода его первого романа «Незадачливый почтарь». Илларион Петрович Малишевский, гимназический преподаватель изящной словесности, люто ненавидевший Шарумкина (как, впрочем, и любого автора, имевшего несчастье жить позже боготворимого им Лескова) и под угрозой собственного увольнения заставивший местное начальство изъять его из программы, не мог, как ни старался, полностью игнорировать факт его существования. «Вы спрашиваете, как этот словесный форшмак, эта синтаксическая каменоломня могла добраться до печатного станка? – восклицал он, стоя перед классом (его никто и ни о чем в этом роде не спрашивал). – Миновал мусорную корзину помощницы младшей секретарши, казалось бы самой судьбою предназначенную для нее, да?» Позже, охолонув, он пускался в рассуждения о том, как необыкновенно удачно, в единственную возможную секунду, когда дверь высокой литературы оказалась приоткрыта, а привратник отлучился, сумел в нее прошмыгнуть этот специфический роман. Малишевский называл тогдашнюю ситуацию «тоской по мелкотравчатой прозе», поясняя: публика устала от идей, публика устала от трилогий, тетралогий, эпопей; публике хотелось быстрого и занимательного, но с оттенком высшего смысла, поскольку детективов (тут он корчился, как горгулья) публика-с изволит стесняться-с. При этом в самом романе ничего, наводившего на мысль о родстве с детективом, не было: сюжет его состоял в очень подробном, чуть ли не поминутном описании последних дней тяжелобольного и, в сущности, обреченного человека. Справившись с первым шоком от врачебного приговора, тот, благодаря практичному уму, решил не предаваться праздному и бесполезному ожиданию неизбежного, а, напротив, сделаться первым в истории (о других он не слышал) курьером на тот свет. Он опубликовал в газетах объявление о скором отбытии в страну, откуда нет возврата, и предложил желающим за скромную мзду (или вовсе безвозмездно) передать с ним любые сведения любым адресатам, не гарантируя, естественно, своевременную и безупречную доставку, но обещая приложить все усилия, чтобы таковая состоялась и была по возможности корректной. Конечно, о прямой передаче овеществленных предметов речи не шло: младенческая наивность фараонов, навьючивавших караваны вдогонку упокоившемуся правителю, казалась ему (и его автору) последним проблеском первобытной невинной наивности перед наступлением циничных тысячелетий. Нет, он предполагал заучивать послания, ежели таковые появятся, с тем чтобы после известной процедуры восстановить их по памяти и прочитать адресатам.

В ожидании откликов на свои объявления он решил прочесть и заучить те свежие факты и обстоятельства, которые появились в земной жизни за пару последних десятилетий: новейшие открытия физики, химии, биологии, географии; выучить наизусть имена всех ныне действующих царей и президентов, запомнить биржевые котировки и валютные курсы; выяснить современные рекомендации модных домов и узнать, чем закончились романы с продолжениями, печатавшиеся в иллюстрированных журналах. Тем временем начали поступать и ответы на опубликованные им объявления: кто-то писал, кто-то звонил по телефону, а иные являлись и лично. Почти сразу возник (и так не был до конца и выяснен) вопрос о том, как должен выглядеть загробный адрес: почему-то по умолчанию герой «Почтаря» предполагал, что потусторонняя топография почти повторяет нашу и что он сразу по прибытии окажется окружен теми, кто проживал поблизости от места его будущего упокоения, – однако среди тех, кто решил воспользоваться его услугами, были жители других городов и даже стран. Даже если предположить, что миры наши хотя бы отчасти зеркальны, получалось, что ему нужно было в обозримом будущем, куда везомые им послания не устарели, объехать изрядную часть небесных пространств – при полном неведении относительно состояния тамошнего транспорта

и тарифов на проезд. Он стал аккуратно отказываться от поручений, предполагавших разъезды, – по врожденной совестливости, ибо никакие санкции за неисполнение ему, конечно, не грозили. Иные из отозвавшихся, приехавшие как раз из тех медвежьих углов, куда они старались загнать его по ту сторону бытия, начинали скандалить, попрекая не столько разрушенными надеждами, сколько зря потраченными на поездку деньгами.

Не все просто было и с текстами посланий. Вопреки ожиданию, напрашивавшаяся средняя формула («Передайте Этель, что мы ее помним и любим») оказалась одной из самых редких; напротив, преобладали многосложные, длинные записки, наполненные упреками, воспоминаниями, лишними подробностями и даже вопросами («Если можешь – скажи, куда ты закопал банку с червонцами»), – и все это требовалось запоминать наизусть. Случались и вовсе странные посетители: один – огромный, лысый, покрытый татуировками, вышедшими из-под игл людей малограмотных, несомненно искренних и нежно любивших море, настаивал, что Изабелле такой-то нужно передать: двадцать девять. Именно «двадцать девять» – и всё. Между тем время шло, промежутки ясного сознания между приступами боли (мягко купированными благодаря опийному забытию) становились все реже, и тем труднее было отбиваться от новых и новых ходатаев и запоминать новые послания. В какой-то момент прием посетителей завершился, и почтарь отправился выполнять свою миссию. Тут романное время, и до того плетшееся еле-еле, замедлялось до каких-то улиточьих темпов – душа его медленно преодолевала границу между двумя вселенными и после темной тесноты оказывалась вдруг под бледным небом нового мира. Бросившихся к нему людей, явно поджидавших его появление, интересовал один-единственный вопрос – как сыграли две футбольные команды, сошедшие накануне его смерти в решающем поединке, чуть ли не важнейшем за всю историю игры, – и именно на него у старательного всезная не было никакого ответа. Сейчас, спускаясь в задумчивости по лестнице дома матери, Никодим вспомнил, что главного героя романа, собственно незадачливого почтаря, звали точно так же, как его самого.

6

Вряд ли это могло служить доказательством их родства: в тридцатые годы, с возвращением моды на дониконовскую Русь, детей стали называть Пантелеймонами, Епифанами и Евдокиями – так что Никодим не чувствовал себя особенно редким зверем в зоопарке (хотя в классе других Никодимов и не было). Мать, на которую он после минутного замешательства обрушился с расспросами, демонстративно и категорически отказалась отвечать на вопросы об отце, сначала стараясь перевести разговор на другую тему, а после просто замолчала, опустив глаза и насмешливо улыбаясь. Никодим предположил бы, что она выговорила отцовское имя случайно и теперь раскаивается в этом, но это настолько было не похоже на обычные ее манеры и привычки, что он был абсолютно убежден в нарочитости произнесенной фразы. Смысл этого, если исходить из его представлений о ее всегдашней рациональности, был неясен – хотела ли она, чтобы Никодим его разыскал? Имела ли какое-то смутное предчувствие относительно собственного будущего и хотела, чтобы сын остался не полностью покинутым? Между тем именно таковым он себя в настоящую минуту и чувствовал – спускаясь вниз по парадной лестнице, мимо горшков с цветами, выставленных колясок и велосипедов, едва придерживаясь левой рукой за деревянные, старые, истрескавшиеся перила с фактурным переплетением жилок, густо залитых темным полупрозрачным лаком, – и наконец, приоткрыв тяжелую деревянную же дверь с маленьким наивным витражом над ней (лучи малинового солнца над угольной горой бутылочного стекла), он оказался на улице.

Было лучшее время в Москве – с длинными днями и короткими ночами, без пыльной удушающей жары и печального дыхания приближающейся осени. Смотря под ноги и не глядя по сторонам, Никодим медленно шел по переулкам в направлении метро: мысли его не вились вокруг услышанного, а как-то лились непринужденно в обычном его рассеянном рассредоточении; как будто в голове его происходил свободный застольный разговор всех со всеми – и все они были Никодимы, и все они обсуждали поразившее их известие. Вдруг подумал он, что, может быть, до матери дошел слух о смерти отца и она хотела его подготовить к этой мысли – например, в вещах его найдут некоторую шкатулку (он сразу представил себе этакий кипарисовый ларец: потертый, с черепаховой инкрустацией), где, среди прочих важных бумаг, будет и особенный бювар, касающийся Никодима: перевязанные ленточкой письма его матери, потом объяснения отца, его завещание, его письмо, начинающееся «Мой милый незнакомый сын», – впрочем, занавес этот быстро захлопнулся, побежали титры, и Никодим течение этого сюжета категорически прекратил. Если бы так, подумал он, впрочем, дальше, – где бы сейчас физически был его отец? Не душа его, в бессмертие которой он, судя по роману, безусловно верил, а его оставленная оболочка, брэнное тело (которое он, кстати, пока никак не мог себе представить: облик Шарумкина был для него столь же туманен, как и воображаемая прежде безымянная отцовская фигура).

Никодим читал в каком-то научно-популярном журнале статью о круговороте в природе разных элементов, неизменяемых атомов, от урана до кислорода; основу этого цикла составлял углерод, входивший в состав живых организмов и после их кончины возвращавшийся в природу. Атомы его, невозмутимые, как транзитные пассажиры, переселялись из почвы в колосок, из зерна в овцу, из овцы в человека, а после вновь оказывались в воздухе, чтобы опасть в землю и снова прорасти. Если так, думал Никодим, если отец уже не существует в своем физическом обличье и растворился в природе, то он сейчас везде – в этих деревьях и в этой траве, на земле и в небе: странное чувство собственности охватило его; другие люди могли присвоить себе ничейные атомы, составлявшие прежде нечужую ему вселенную, которая, одухотворенная чем-то или кем-то, имела к нему прямое родственное отношение; пользуясь бывшим отцовским теплом и телом, они не знали, да и не задумывались, кому принести за это

благодарность. Впрочем, и эту мысль он прогнал как недостойную и непрактичную – ибо если отец был жив, то его следовало разыскать.

Первое это чувство (еще спускаясь по лестнице, Никодим ощущал его постепенное шевеление) было в принципе иррациональным: с приливом подступающей неловкости он сразу вообразил себе будущую, вполне гипотетическую, сцену свидания и поморщился. Казалось совершенно немислимым подойти к неизвестному, чужому, весьма, вероятно, знаменитому человеку с мелодраматическим «здравствуй, папа» или чем-нибудь в этом роде. «Сочинитель Шарумкин, если не ошибаюсь?» – но к такой реплике требовалась соответствующая мизансцена: африканские сумерки, угадываемый плеск гигантского озера, туземные белозубые проводники с мачете, свежующие свежепойманного гиппопотама. «Джамбо, мбвана». Опять не то. Тем временем светлый майский полдень отвлек его мысли: он шел по правой стороне тенистого бульвара, среди цветущих каштанов с их светлыми свечами между широколапых листьев. В Москве не приживались их европейские родственники, ласкавшие весной взор, а осенью желудок: сажали здесь так называемые конские, с колючими плодами, обнаруживавшими в свое время темную, мореную сердцевинку, абсолютно несъедобную. (Странно, подумал в скобках Никодим, что русский язык презрительно именуется «конским» негодные разновидности – конский щавель, конский каштан: стоило бы от наречия крестьянской страны ожидать большего почтения к главному кормильцу.) По бульвару, сердито пофыркивая, катились редкие машины: горбатые, кругломордые, похожие на гигантских насекомых или особенную разновидность пресмыкающихся; прохожих почти не было. Немногочисленные лавки, оставшиеся в переулках после того, как их удачливые соседки перебрались поближе к центральным улицам, были открыты в тщетной надежде на локальное экономическое чудо: зеленщик опрыскивал из пульверизатора свой прихотливо разложенный малахитово-румяный товар, мясник прятался в глубине своей бело-красной пещеры за вяло колеблющимися лентами клейкой бумаги, усеянными мухами, и только табачница, облокотившись на видимый из-за приоткрытой двери прилавок, о чем-то вяло беседовала со сгорбленной старушкой в тюлевом чепце. На углу в специальной крашеной круглой будке скучал городской – неременная примета столичного пейзажа: каждый год прогрессивная часть Городской думы выставляла на голосование вопрос об отмене этих давно ненужных круглосуточных дежурств, и каждый год большинством голосов этот вопрос откладывался до следующей сессии.

Вдруг новая мысль пришла к нему: если отец назвал героя своего романа его именем, не оставил ли он каких-то подсказок в других своих книгах? У его до сих пор бесцельной прогулки (домой ему не хотелось) вдруг появился смысл: как если бы искатель сокровищ получил бесспорные сведения, что искомая карта ждет его в запечатанной бутылке. Никодим пока не думал, какого рода сведения он там отыщет: еще одного тезку? Персонажа, которому будут приданы его внешность или какие-нибудь истории из его жизни? Или что-то, что позволит ему обнаружить самого автора? Московские книжные магазины, несмотря на то что торговали они товаром без срока давности и уже потому должны были оказаться защищены от причуд спроса, сезонных колебаний и прочих экономических бурь, обнаружили, напротив, в последние годы необычайную прыть. Прежде основная книжная торговля была сосредоточена в районе Никольской и у Сухаревой башни: недалеко от Кремля располагались лавки со столетней историей, где пожилые бородатые знатоки (существенная часть московских антиквариетов происходила из двух-трех старообрядческих семей) степенно беседовали со столь же седобородыми и высокоучеными покупателями; неподалеку от них велось дело на европейскую ногу: бритые увертливые приказчики торговали парижскими и брюссельскими новинками, не брезгуя, Впрочем, и старой русской книгой, но только гражданской, – в старопечатных изданиях они не смыслили и их не держали. За новыми книгами любители шли на Сухаревку, где под открытым небом теснились развалы, на которых гимназист мог за двугривенный купить нужный ему учебник либо словарь, здесь же по традиции стояли и киоски большинства действующих

издательств, торгующие новинками. Впрочем, в сороковых годах эта картина стала меняться – Сухаревку затеяли перестраивать, так что книжники, собрав свой пыльный скарб, разбрелись по всей Москве, оседая в людных местах, а то и открывая небольшие лавочки на центральных улицах, – и, когда после реконструкции окрестностей башни отцы города затеяли собрать их снова, оказалось, что часть их пустила в новых местах уже такие зацепистые корни, что сдвинуть их с места сделалось невозможным. Никодим, никогда не интересовавшийся предметом (хотя в гимназические годы ему случалось бывать на тогда еще действовавшей Сухаревке), твердо помнил, что где-то недалеко от дома матери ему точно попадалась вывеска букиниста, но сейчас, пытаясь ее найти, он никак не мог сопоставить отложившуюся в уме картинку с тем, что его окружало.

7

Он вдруг почувствовал себя туристом, оказавшимся в незнакомом городе: поскольку работа его была связана с разъездами, ощущение это было и привычным, и приятным. Правильным было бы, развивая ситуацию, спросить дорогу у городского либо, остановив одного из редких прохожих, показать ему карту, объясняя на ломаном языке свою нужду, но это бы отдавало фарсом, а ему хотелось не повредить, не расплескать то серьезное, что было у него на душе. Он пошел в сторону метро, поглядывая по сторонам, книжная лавка была его как бы конечной целью, но сгодился бы и трактир, а может, и что-нибудь еще: к прочим чувствам примешивалось и новое – отчего-то Никодиму не хотелось спешить, как если бы тайна, которую он собирался разгадать, могла бы оказаться неприятной для него. Время, как нарочно, убыстрилось, так что на оставшемся пути до «Лермонтовской» ему не попало ничего заслуживавшего внимания; у самого метро же такого было с избытком: стоял ларек с псевдорусскими кушаньями, кто-то пьяненький играл на балалайке, бросив картуз, блестящий редкими монетками, на землю; рядом два мужика, положив в ноги шевелящийся и повизгивающий мешок, разглядывали схему метро.

Был здесь и книжный лоток, ненадежной конструкцией демонстрировавший некоторую врожденную утлость всего предприятия: поставленные вровень четыре раскладных стола на алюминиевых ножках со столешницами, наивно имитирующими мраморный рисунок; рядом притулилась решетчатая массивная тележка, на которой, вероятно, вся эта сокровищница человеческой мысли на ночь убиралась в какое-то близкое укрытие. На столах лежали книги, налезая друг на друга, как карты в пасьянсе или черепахи, спасающиеся бегством. У Никодима немедленно зарябило в глазах от пестроты картонажей, обложек и переплетов: преобладающие тона были черный, красный (цвет крови) и розовый (колер плоти); основным сюжетом было насилие. На почетном месте лежала стопка одинаковых книг с названием «Не получишь морошки, Беляночка»; к обложке верхней из них был приторочен скрепкой бумажный лоскуток с надписью «новинка». Он перешел к другому столу, тут, напротив, царствовало благолепие: купола, молодухи в платочках, томные витязи, поигрывающие вилами, и добрые кони, недвусмысленно изъявляющие готовность умчать читателя в мир грез с кисельными реками, молочными берегами и земляничными полянами. «Все-таки я не люблю литературу», – подумал Никодим и поневоле взглянул на продавца, который тем временем подобрался в надежде на поживу.

Сперва ему показалось, что продавец, широкоплечий детина в расстегнутой клетчатой рубашке, сидит на стуле или табуретке, но потом стало понятно, что тот – лилипут, карла, с несоразмерно развитой верхней половиной туловища. Увидев Никодимово замешательство, он подошел ближе, обнаружив пару журавлиных ножек, затянутых в лиловое трико и украшенных светлыми тапочками наподобие балетных. Очевидно, неписанный кодекс его профессии подразумевал склонность к психологизму: оглядев Никодима и составив себе умозрительное представление о его читательских склонностях, он нырнул под прилавок и, вытянув из стоящего там баула небольшой квадратный томик с орнаментом в восточном стиле, протянул его. «Ираида Пешель» – было написано тонкими, как бы заваливающимися в изнеможении буквами. «Тоска по тоске. Стихетты». Никодим в изумлении поднял брови. «Берите-берите, другие берут и хвалят», – почти пропел карла звучным баритоном. Никодим отверг Ираиду Пешель; карла с несколько оскорбленным видом прибрал ее обратно в баул. «Нет ли у вас книг Шарумкина?» – выговорил наконец Никодим. «А зачем вам?» – изумился тот.

Вопрос этот поверг Никодима в замешательство. Объяснять истинную причину было немисливо: даже если допустить, что случайный собеседник заслуживал ее услышать – на правах попугайчика в купе, которому, увлекшись застольной беседой под перестук колес и терп-

кий чай из серебряного подстаканника, выбалтываешь то, чего не рассказал бы и священнику на исповеди, Никодим не решался взять с собой другого человека в тот головокружительный прыжок через логическую расселину, который объяснил бы, зачем ему, в видах установления отцовства, понадобилось немедленно прочесть книги предполагаемого кандидата. Более того, на краешке сознания брезжила совершенно иррациональная мысль, не может ли сам карла оказаться Шарумкиным: внешности того Никодиму знать было неоткуда, а по возрасту он примерно подходил, принадлежа к той мужской породе, которая, взойдя примерно к тридцати годам в зрелый возраст, заматерев и обрастя бородой, оставалась в нем до самой старости. В этом неожиданном примеривании случайного встречного на роль утраченного родителя видна была очевидная патология – с другой стороны, и день, начавшись столь необычно, мог продолжиться следующими сюрпризами: так ребенок, попав в цирк и встретивший в фойе фокусника, заранее настраивается на открытость к чудесам, которые осыплют его в ближайшие два часа. С другой стороны, формирующаяся эта привычка грозила Никодиму серьезными жизненными (или как минимум умственными) осложнениями, поскольку окружавший его мир в значительной своей мере состоял из подходящих по возрасту и полу кандидатов – и, бросаясь, хотя бы мысленно, к каждому из них, он быстро встал бы в положение собачонки, потерявшей хозяина в многолюдной толпе и неистово бороздящей ее в жажде дуновения родного запаха. Нуждался ли интерес к знаменитому писателю в дополнительной мотивировке? – подумал Никодим, но оказалось, что, покамест он собирался с ответом, карла вновь прибег к помощи своего волшебного баула и извлек оттуда новую книгу. «Шарумкин» – было вытиснено золотом на верхней крышке переплета. «Раннее и несобранное». Никодим расплатился и, прижимая локтем драгоценную увесистую ношу, отправился в ближайший сквер.

Обойдя храм Трех Святителей и пробравшись по неприметной мощеной тропке между разросшимися и как раз цветущими кустами сирени, Никодим вступил в пахучий полумрак парка. Посередине, за почему-то не работающим фонтаном, стоял памятник Милюкову, похожему на старую мудрую усатую крысу; тот сидел в кресле, заложив ногу на ногу, и держал в руках бронзовую книгу. Скульптор, охочий до подробностей либо просто шалун по натуре, снабдил свое бронзовое детище множеством не сразу открывающихся деталей: так, подпернутая штанина истукана обнажала носок с дыркой, на корешке лелеемой им книги легко читалась фамилия Струве, а прекрасно уловленное выражение лица передавало сложную смесь насмешливого ожидания от книги и одновременно опасения, что она окажется недостойна возложенных на нее надежд. Сизый толстый голубь, с трудом балансирующий на бронзовом плече Милюкова, добавлял скульптуре что-то библейское. Никодим выбрал свободную лавочку, присел, бессознательно копируя позу изваяния, и открыл книгу.

8

«Покойный» – бросилось ему в глаза на первой же странице, и он мгновенно похолодел, но недоразумение сразу разъяснилось: это была фамилия автора предисловия, вольготно распостранившегося чуть ли не на треть книги. Значительную часть титульного листа украшало перечисление регалий того же Олега Леоновича Покойного, а также перечень работ, исполненных им для предлагаемой (он так и писал «предлагаемой») книги: тут были и «общая идея», и «подготовка текста», и «комментарии», и «надзор за исполнением», и, кажется, что-то еще. Вторым поразившим Никодима обстоятельством было то, что и напечатанная на фронтисписе фотография изображала профессора Покойного, но, пока это выяснилось, Никодим пережил несколько неприятных секунд, наспех сопоставляя свое воображаемое отражение в мысленном зеркале с чертами холеного jovиального белокурого мужчины, с надменной усмешкой глядевшего на него с портрета.

Когда-то давным-давно у Никодима была «Иллюстрированная энциклопедия для детей», где среди прочего был изображен маленький человечек в скафандре, оказавшийся на какой-то дальней планете, где сила тяготения была в несколько раз меньше земной. Человечек подпрыгивал вверх с обычным усилием, но прыжок его получался гигантским, на несколько десятков метров: он практически парил в воздухе, перебирая при этом смешными надутыми ножками специального костюма. Именно этого космического комика напомнила Никодиму манера профессора Покойного: едва прикасаясь к собственной теме, то есть к биографии и творчеству Шарумкина, он ухарски подскакивал и надолго зависал в воздухе, многословно рассуждая о колониализме, феминизме, экзистенциализме и прочих отвлеченных предметах. Никодим подумал о полистной оплате, но быстро устыдился: вероятно, речь шла о вещах, к пониманию которых у него не было ни врожденных способностей, ни подходящего образования, ни какого-то особенного умственного такта, наличие которого могло позволить увидеть за этой нелепой трескотней что-то разумное. За полчаса усердного листания Никодиму удалось выцедить из статьи в полторы сотни страниц совсем немного – как оказалось, почти все, что имело отношение к личности и взглядам Шарумкина, профессор выписывал из одного-единственного интервью, которое тот уже в статусе именитого писателя некогда дал «Утру России» (Никодим загнул уголок страницы со ссылкой); в остальном биографические сведения сводились к констатации их отсутствия. Шарумкин появился буквально ниоткуда: по слухам, в юности он любил рассказывать диковатую историю о том, как его случайно обнаружили крестьяне какой-то деревни на берегу реки лежащим в корзинке (чуть ли не по реке этой приплывшей); знакомые относили это на счет артистичности натуры и разговор не поддерживали, а после, когда он сделался еще не знаменит, но уже как минимум известен, от бесед такого рода он уклонялся сам. Учился он где-то в провинции, в школе-интернате; попал в состав губернской делегации на физической олимпиаде, выиграл ее, причем произвел глубиной своих познаний и силой интуиции такое впечатление на жюри, что ему сразу, не сходя с места (случай, кажется, беспрецедентный), предложили не возвращаться со своими товарищами обратно в интернат, а остаться в Москве, суля пожизненный контракт. Он отказался, но домой и правда не вернулся: где-то скитался, у нас или за границей, потом поступил на физический факультет, где его еще помнили и уже ждали, отучился с блеском четыре года – и на исходе пятого написал «Незадачливого почтателя». Дальше на странице предисловия вдруг заплясала стайка фамилий, ничего Никодиму не говоривших, но, кажется, много значивших для Покойного: насколько можно было понять, это были люди, с которыми Шарумкин знался в годы своей недолгой литературной... не карьеры даже, поскольку слово «карьер» подразумевает старание и возвышение (не говоря уже, что пахнет конюшной), а литературной жизни. Потом Покойный наскоро и не вдаваясь ни в какие подробности, упоминал «его (то есть Шарумкина) трагическое исчезновение» – и снова

с облегчением утомленного жарой курортника пускался с головой в пенные воды феминизма с мировой скорбью. Таким образом, главное, что удалось извлечь из предисловия в практическом смысле, – место работы самого Покойного (он, среди прочего, титуловался профессором историко-филологического факультета Московского университета) – ибо с ним совершенно необходимо было встретиться. Но прежде этого Никодим сделал то, ради чего, собственно, и покупалась книга, – усевшись поудобнее, перелистнул последнюю страницу предисловия и открыл начало первого отцовского рассказа.

Сразу все как-то изменилось вокруг него – как будто он вышел из прокуренной комнаты, где неумные и неприятные люди говорили о скучных и подлых вещах, и вошел в тенистый прохладный лес. Вновь повеяло запахом сирени; на страницу книги, соблазненный ее кажущейся теплотой, деловито спланировал комар, который, утвердившись четырьмя лапками на шероховатом листе бумаги, стал чистить передними двумя свой натруженный хоботок, как бы примериваясь к уколу; в брюшке его поблескивала рубиновая капелька с кровью предыдущего кормильца. Никодим задумался о том, кто был его невольным донором, прикидывая, куда бы могло завести его это странное кровное родство, если бы он подставил насекомому руку. Первый рассказ книги был под стать его мимолетному настроению: в нем говорилось (Никодим старался привыкать к неторопливой отцовской манере) о человеке, болезненно жалеющем все сущее. Начинался он с похода героя к стоматологу: сперва тот объяснял несколько ошеломленному этим оборотом доктору, что каждый зуб у него во рту имеет собственное имя, были такие и у молочных, но он с самого начала знал, что те обречены; нарекая же постоянные по мере их появления, он уповал, что они останутся с ним до конца и даже более того. Но вот (тянул он дальше) Джошуа захворал и теперь болит и на вид сделался довольно скверным. Дантист, осмотрев Джошуа, подтвердил первоначальный вердикт и заключил, что Джошуа надо извлекать. Дальше страницы на три шел трагический, но при этом совершенно уморительный диалог, к которому в некоторый момент присоединялась сестра милосердия, помощница доктора. Наклонившись ради увещания и утешения к больному, она случайно продемонстрировала в вырезе белоснежного халата, спасовавшего перед ее природными дарованиями, ожерелье из желтоватых камешков, в которых герой не без труда узнал человеческие зубы. Направление диалога переключилось: герой не мог прямо спросить у сестры о ее странном (хотя с профессиональной точки зрения логичном) украшении, поскольку боялся осрамить ее перед ее начальником, но при этом в голове его постепенно утверждалась мысль, что Джошуа, пожалуй, был бы не против найти вечное упокоевание в составе ее ожерелья. Далее он прощался с доктором и его любезной помощницей, назначив дату решающего визита, и отправлялся домой, где садился за письмо к полногрудой дантистке. Дело шло туго, поскольку любые описки и опечатки были для него болезненны: замазывая или зачеркивая букву, он представлял себе, как убивает ее, только что родившуюся, не дав ей прожить долгую жизнь. Через тысячи лет, – представлял он, – будущие археологи могли бы найти этот листок, быть может единственный уцелевший от целой цивилизации, чтобы судить по нему, ничтожному, обо всем ее богатстве и великолепии, так что каждое слово, каждая буква, каждая точка его сделалась бы объектом исключительной важности, – и этой-то блистательной судьбы лишилась несчастная буквочка, нелепый графический бастард, произведенный на свет по неосторожности: глаза его наполнялись слезами, соленая влага капала на лист, размывая чернила и растворяя другие буквы, от чего он начинал прямо рыдать – и в этот момент слышал стук в дверь. Была ли это та самая гостья, чье появление на пороге, казалось, следовало из всей логики рассказа? Неизвестно, поскольку он на этом заканчивался и начинался новый.

Героем его тоже был человек с необыкновенным даром: он умел вступать в невольный симбиоз с разными живыми существами, сперва сам не подозревая об этом. Так, например, когда он съел яблоко с огрызком, одно из зернышек проросло у него в желудке, пустив корни и ветви, но сделало это с необыкновенной деликатностью, так что человек почти не испытал

дискомфорта: напротив, увидев однажды в зеркале, что из уха у него торчит тоненькая веточка с зелеными клейкими листочками, он не побежал к врачу и не попытался ее выкорчевать, а, напротив, стал носить шапку, которая предохраняла бы нежный росток от холода. Он был разумен и предусмотрителен, так что к моменту, когда шапка по условиям климата привлекала бы дополнительное внимание, он отрастил длинные волосы, которыми и закрывал ухо, пропуская сквозь них лишь нежное розоватое соцветие, которым тем временем вознаградила его благодарная яблонька. Отдельное беспокойство доставляли пчелы и шмели, старавшиеся опылить его на ходу, но он справился и с этим: оказалось, что если сесть на скамейку и на некоторое время замереть, то они не причинят вреда – если, конечно, утомленные душистым нектаром и весенними ароматами, не устроятся ночевать прямо в цветке. Он уже подумывал о том, как будет камуфлировать будущий урожай (в том, что он состоится, сомнений не было) и на что употребит созревшие яблоки, – просто сгрызть их было бы неловко: выходило, что все время вызревания ему предстояло оставаться дома, заранее приобретя необходимые припасы, – но по условиям фрукты нуждались в солнечном свете, а балкон его квартиры выходил на северную сторону дома... тут в эти манящие расчеты вторглось новое обстоятельство: в его организме поселилась колония дрожжей, которая в награду за приют и регулярные порции сахара (ни в коем случае не вместе с горячим чаем) подкармливала его чистым спиртом, который сама вырабатывала, – так что герой рассказа на некоторое время решил отставить дальновидность и пуститься во все тяжкие. В этот момент Никодим, не дочитав, закрыл книгу, заложив страницу спланировавшим к нему в руки листочком, – ему не то чтобы не хотелось узнать, что будет дальше, но он почувствовал что-то вроде пресыщенности прихотливым отцовским воображением: книга ему несомненно нравилась, но впечатления от нее должны были отстояться. Тем более что если он хотел застать профессора Покойного на рабочем месте, ему следовало поспешить: был четвертый час дня, так что тот вполне мог уже, покончив с дневными лекциями, уйти домой.

Ему нужен был десятый номер трамвая, один из самых старых московских маршрутов, начинавший еще в качестве конки и эволюционировавший на глазах у старожилов: испокон веку ходил он откуда-то из района Преображенской заставы, бывшего тогда глубокой окраиной, через весь город к Калужской площади. Вагон подошел, гремя; на площадке кондукторша (работа, к которой не так давно и после некоторых локальных тревог и интриг стали допускать женщин) вяло кокетничала с двумя верзилами-кавалергардами. Никодиму показалось, что все они действуют как бы нехотя, оправдывая ожидания, возлагаемые на них униформой и ситуацией: кавалергард обязан быть волокитой, равно как и билетерше необходимо вносить в скучное свое ремесло дуновение Эроса, а в действительности ни тем, ни той не хотелось ничего, кроме того, чтобы их не трогали. Собственно, Никодиму, прервавшему фарс, обрадовались как родному: кондукторша приняла пятак, пропустив его на верхнюю площадку, – и трамвай покатиł себе через Каланчевскую, Сретенку, Лубянку – улицы, которые обошел стороной вал переименований 20-х годов, когда полубогов и героев, проведших Россию по краю пропасти и не давших ей туда соскользнуть, стремились вплести в вечность нитями топонимов; вскоре, впрочем, образумились и практику эту прекратили.

На Моховой, едва завидев здание университета, Никодим вышел; местное начальство, из года в год соревнуясь то ли со своими предшественниками, то ли с самим собой, красило комплекс зданий во всё более ядовитый цвет: начали с обычного воцаного, потом перешли к цвету лавальер, потом – к яичному желтку, – сейчас же, как заметил Никодим, они вновь были перекрашены в особенно яркий оттенок с добавкой рыжины. Впрочем, вопреки колористическому напору недвижимости, швейцар, напротив, оставался совершенно традиционным и даже старорежимным: с усилием распахнув перед посетителем дверь и с охотой приняв двугривенный в бездонную свою лапу, он уже безвозмездно указал на кабинет профессора Покойного, прибавив, что тот до сих пор на месте. Никодим споро взбежал по лестнице, опоясывающей

полукруг вокруг пустого места (как будто собирались здесь поставить крупную статую, но из-за чего-то помедлили), и пошел по коридору; из-за двери с табличкой «Лаборатория фольклора» доносился томный женский голос, отчетливо выпевавший: «Ох дед, ты мой дед! Ты не знаешь моих бед! Захотелось морковки, в огороде какой нет!» Никодим покачал головой и ускорил шаг: искомая дверь – массивная, филанчатая – была шестой слева. За дверью пискнуло: там обнаружилась миниатюрная секретарша – светловолосая, краснотелая, бледнолицая, приводившая даже на память полузабытое тургеневское слово «белесоватая», она была одета во что-то белое кружевное – и взглянула на Никодима с непонятным облегчением, как будто ожидала увидеть вместо него кого-то гораздо более зловещего.

Никодим осведомился, можно ли увидеть профессора; его попросили подождать. По стенам красовались фотографии, где хозяин кабинета был запечатлен, вероятно, с разнообразными писателями, судя по глубокомысленным выражениям лиц и лезущим в кадр атрибутам сочинительского труда: пишущие машинки, книжные полки; на некоторых красовались дарственные надписи разной степени вычурности: «Опытному от подопытной», «Не забывайте тело, но поняли ли Вы мою душу?», «Собрат, воистину». Никодим не без трепета подумал, что среди этих по большей части безымянных лиц может оказаться и Шарумкин, но, впрочем, дамы явственно преобладали. В коридоре послышались шаги, дверь скрипнула, и вошел Покойный, отчего-то несущий в руках футбольный мяч; фотография (или мастерство ретушера) ему льстила: в жизни он был пониже, постарше, поплешивее; на лице его выделялись иссиня выбритые щеки, как будто он только что вышел от цирюльника. Они быстро обменялись с секретаршей взглядами, смысл которых Никодим не понял. «Позвольте, угадаю, – сказал профессор, впиваясь глазами в Никодима. – Вы – тот самый Половинкин, который не был ни на одной моей лекции и теперь собрался писать у меня диплом, верно?» Не хотевший быть Половинкиным Никодим отверг это предположение. «Чем же обязан?» – «Я – сын Шарумкина» (он сам удивился, как легко это выговорилось). – «Что ж, добро пожаловать», – никак не выразив своего удивления (если оно и было), проговорил Покойный, показывая на дверь в левой дальней стене приемной.

Кабинет профессора был невелик и чрезвычайно уютен, с книжными шкафами из темного дерева и длинного, явно антикварного стола им в тон. Жестом указав Никодиму на один из стульев, профессор аккуратно опустился в кресло, стоящее во главе стола, и вопросительно поднял бровь. В этот момент дверь открылась, и секретарша, просунув голову, испуганно пискнула: «Идет». Тигриным прыжком профессор метнулся к двери приемной и дважды повернул ключ. В дверь застучали – судя по звукам, сперва костяшками пальцев, после кулаком, а после и ногами. «Открывай, гадина», – проревел низкий, но несомненно женский голос. «Мой психоаналитик», – извиняющимся тоном прошептал профессор Никодиму, как будто это что-то объясняло (впрочем, отчасти так оно и было). Дверь осязательно трепетала, поддаваясь. Покойный бесшумно налег на нее изнутри, секретарша притулилась рядом, так что Никодиму ничего не оставалось, как примкнуть к ним, обороняя их скромную крепость от неведомой воительницы. Крики и удары продолжались; от струсившей секретарши явственно тянуло кислотным запахом; профессор, насколько мог, сохранял внешнюю невозмутимость. «Как странно, – думал Никодим, – я шел сюда в надежде повыспросить что-то про моего предполагаемого отца, держа в уме возможность холодного приема и даже отказа, но никак не мог предположить, что мне придется вступить в столь нелепое противостояние».

Тем временем крики смолкли, прекратились и удары; некоторое время из-за двери слышалось тяжелое дыхание, но вскоре затихло и оно. «Ушла?» – одними губами спросил Никодим. «Затаилась», – так же отвечал профессор. Вдруг футбольный мяч, принесенный им и в какой-то момент забытый, сам по себе выбрался из-под стола и медленно покатился к ним. Секретарша взвизгнула шепотом, и это странным образом разрядило обстановку. Нарочито медленно двигаясь на цыпочках, высоко поднимая колени, как будто шли они в зарослях крапивы

или по болоту, а не по истертому казенному ковру, все трое двинулись в кабинет. Секретарша жестами показала, что она сделает мужчинам чай, те покивали и вновь устроились в диспозиции, какой она была перед началом вторжения, но сейчас они были уже сближены пережитым, так что психологический фон был совсем другим. «Что вы хотите знать про Шарумкина?» – негромко спросил профессор, понижая голос одновременно как бы и из деликатности, и чтобы не разбудить зверя, спящего за дверью. – «Где он сейчас?» Покойный пожал плечами. Секретарша внесла три чашки чая на подносе и, не спрашивая, взяла себе одну, устраиваясь за тем же столом. Никодим отметил, что, ставя чашку Покойному, она каким-то особенным собственническим жестом смахнула пылинку с его твидового плеча. Профессор начал рассказывать.

9

Смущаясь поначалу скудостью своей аудитории (что, впрочем, компенсировалось – в части Никодима – ее чрезвычайной заинтересованностью) и поневоле прислушиваясь к враждебной тишине за дверью, профессор – прирожденный лектор – вскоре освоился и привычно забасил. Устная его речь в той же степени, что и письменная, впечатляла глубиной умения говорить много и одновременно не сказать ничего – быстро съехав в уютную преподавательскую колею, он успел, как классический фокусник, потащить за французские уши из умозрительной шляпы концепцию «одиночества-среди-толпы», когда Никодим прервал его аккуратным покашливанием.

Покойный поглядел на него, как виолончелист на чахоточного. Разговор приобрел свойства диалога: из Никодимовых вопросов выяснилось, что профессор видел своего многолетнего героя единожды, много лет назад на многолюдной вечеринке у Ираиды Пешель, и имел с ним пятиминутную беседу, закончившуюся просьбой повторить еще раз его имя, которое Шарумкин не расслышал при представлении, тот повторил, после чего писатель (которому, вероятно, оно оказалось небезызвестным), сказавшись больным, бежал. Большинство же биографических сведений, которыми Покойный скупно, но регулярно уснащал свои шарумкиноведческие труды, извлекались им из косвенных источников. Почувяв тень интереса к последним обстоятельствам, профессор не без рисовки обратился к перечислению собственных статей, заметок, эссе и очерков, посвященных Шарумкину: здесь были и тезисы к воронежской конференции «Шарумкин и дадаизм: к постановке проблемы», и (по собственному его определению) «филологическая мелопея» «Незадачлив ли почтарь?», и брошюра «Ум Шарумкина как вызов эпохе», – и все это казалось, да и было совершенно лишним и ненужным. Переспрашивая, уточняя, понукая и притормаживая, Никодим выяснил совсем немного из действительно интересовавших его вещей. В частности, профессор упомянул, что некоторое время после своего «удаления в монастырь собственного духа» (как он называл оставление Шарумкиным литературы) тот прожил в какой-то дальней деревне среди неких сектантов, самоназвание которых ученый запомнил. Была ли эта поездка совершена по заданию правительства (которое по классической традиции любило отправлять писателей для исследования провинциальных ересей, возможно, с подсознательным желанием, чтобы они там и сгинули, а не мозолили глаза) либо по собственному почину, Покойный не знал. Упомянул он (сопровождая это недоуменным пожиманием плеч и закатыванием глаз) и об одержимости Шарумкина закатыных лет собачьей темой – о каком-то рассказе, который он то ли собирался написать, то ли написал и который отвергло его обычное издательство («А что за издательство?» – как бы в скобках спросил Никодим. «Оно разорилось», – отвечал профессор), сюжет его состоял в том, что некоторый глава государства норовит породниться со своими иноземными коллегами по собачьей линии, преподнося им щенков из собственной псарни, а щенки те – особенной выведенной разумной породы – напивавшись интимными секретами чужих монархий, потом каким-то образом рапортуют своему патрону. Рассказ этот («Запах псины!» – вспомнил вдруг профессор) должен был входить в книгу «Пейзаж с лабрадором», из которой часть глав была написана, а часть только задумана к моменту, когда писатель вдруг бежал.

По его воспоминаниям, в последние месяцы перед исчезновением Шарумкин сделался совершенно невыносим: рассорившись с большинством своих друзей, поругавшись с издателем, он злобно таскался по Москве (где он жил, Покойный не знал), «аки лев, иский кого пожрати», – по выражению профессора. На какую-то околотитературную вечеринку, проходившую в кафе «Кунжутная жуть» (ныне не раз уже переименованном и в нынешней инкарнации называвшемся «Птичья плоть»), он, преодолев неуверенное сопротивление охраны, впадшей в легкую кататонию из-за своеобразного контингента заведомо приглашенных, вломился,

взобрался на эстраду, спугнув оттуда выступающего, и, почти не запинаясь, прочел, обращаясь к публике, стихотворение, вероятно, собственного сочинения:

«Неясен смысл последней фразы», —
Он, подбоченившись, сказал.
Какая все-таки зараза
Здесь полный собирает зал.
А я, паскудный и небритый,
Смотрю на потускневший мир.
Трепещут листики ракиты.
Моя собака – мой кумир.

После чего, в тот же вечер он при неизвестных обстоятельствах отправился, вероятно, в сектантскую деревню и пропал. «А собака?» – глуповато переспросил Никодим. «Что собака?» – «Была ли у него собака?» Этого профессор не знал. Дальше оставались крохи: в течение нескольких месяцев, по мере того как затягивалась пустота, образовавшаяся с его бегством, с ним пытались связаться по телефону (к которому никогда не подходили) или письмами (остававшимися без ответа). Литературного секретаря у него не было, семьи тоже. «А кстати, – скумекал вдруг профессор. – А вы-то, я извиняюсь, откуда взялись?» Никодим отклонился.

10

Идти в библиотеку, где аккуратно спеленутый между газетных листов и ничем с ходу не выдающий своей таинственной сущности дожидался Никодима номер газеты с единственным отцовским интервью, было поздно – хотя после разговора с профессором сделалось понятно, что источник этот обладает исключительной ценностью. Шарумкин, с его диковатым нравом, замкнутостью и вспыльчивостью (все – определения Покойного), от интервью обычно отказывался, а если и соглашался, то мог просто не явиться, а мог, придя вовремя и сохраняя манеры старосветской учтивости, два часа подряд участливо выспрашивать журналиста о его делах, семье, чаяниях, решительно и бесповоротно отказываясь отвечать на какие бы то ни было вопросы, касающиеся собственной персоны. По словам профессора, писатель был скопищем дурных привычек и источником скверных шуток: так, например, он особенно любил в переполненном вагоне метро вдруг вскочить и уступить место наименее на первый взгляд нуждающемуся в нем, какому-нибудь здоровяку деревенского вида; тот начинал отказываться, Шарумкин настаивал: «Присаживайтесь непременно, вам надо, вам совершенно необходимо, поверьте мне» – и добивался-таки того, что пунцовеющий верзила под взглядами других пассажиров неловко усаживался на полосатое тиковое сиденье, не зная, куда девать свои руки с не слишком чистыми ногтями.

Тем временем смеркалось – в мягкой майской московской манере, когда желтоватое солнце с подразумеваемым вздохом облегчения последний раз пробегает лучами по желтому зданию Манежа, серому – Румянцевского музея; проходится по зелени Александровского сада и белоснежным стенам Кремля, после чего скрывается где-то за Филями; все ускоряет движение – машины едут быстрее, а пешеходы прибавляют шаг: древнейший из инстинктов, полученных даже не от «нашей прабабушки Евы», а от прапрадедушки Х. Антессора: до наступления ночи необходимо убраться в свое логово. Между тем Никодиму в логово (представляющее собой квартирку в доходном доме на углу, образованном пересечением Трубниковского переулка с другим, название которого я вечно забываю) совершенно не хотелось по причинам, о которых стоит сказать особо.

В последний год его обучения в Поливановской гимназии туда начали принимать девочек. Это обстоятельство, для наших дней кажущееся столь же естественным, сколь и непримечательным, было одной из ключевых вех в собственной истории учебного заведения и явилось результатом череды хитроумных интриг, оскорбительных статей, угроз уголовным судом и реальной перспективой отказа в финансовой поддержке, в каковой гимназия остро нуждалась. Еще с 20-х годов идея женского равноправия, постепенно овладевавшая городскими массами, аккуратно, как вода валун, обходила вопросы школьного обучения: существовали гимназии мужские, женские и смешанные; множились женские курсы, дававшие своим выпускницам дипломы, равные по силе классическим мужским; более того, поговаривали и об открытии приёма девушек в традиционные бастионы косности – университеты. Между тем во второй половине сороковых в общественной атмосфере появились какие-то новые ноты, странное чувство, которое, применительно к персоне, бывает иногда по минованию тяжелой опасности, когда, например, на перекрестке просвистит вдруг поперек, на красный свет, тяжелый грузовик с задремавшим или потерявшим сознание шофером – и пьянящее чувство состоявшегося везения вкупе с осознанием собственной неповрежденной хрупкости преследует тебя еще несколько часов. Такого рода ощущения испытывала страна в целом – или, как минимум, ее думающая и известная нам не понаслышке часть, поскольку о состоянии умов значительной популяции наших братьев судить мы не в состоянии и не вправе. И вот на фоне этого общего чувства открылись как будто возможности назревших перемен, причем казалось, что если не совершить их, эти перемены, сейчас, то следующая оказия представится через необозримо боль-

шое количество лет. Одним из следствий этого возникшего вдруг нравственного напора было оживление дискуссии об обязательности смешанного образования – и бастион Поливановской гимназии пал одним из первых. Компанию ей составили еще несколько консервативных и ультраконсервативных заведений (в Москве, например, это был Катковский лицей), представлявших собой особенно лакомую цель для преобразований; следующим ходом должны были стать реформы духовных училищ и семинарий, но тут в дело вмешались доселе дремавшие силы, которым, очевидно, по малости вопроса было недосуг отстаивать гимназические устои, – и реформаторам каким-то способом быстро и безжалостно наступили на хвост.

Барышень для заполнения открывшихся вакансий в бывших мужских гимназиях набирали по всей Москве: завоеванные позиции требовалось закрепить, для чего нужны были ученицы сразу всех классов; между тем среднестатистические родители отнюдь не горели желанием отдавать своих дочерей в мужские гимназии, представлявшиеся им (не без основания) чем-то средним между монастырем и казармой. В результате удалось подобрать пестрый и необыкновенный отряд первого призыва, срочно извлеченный из женских гимназий: кого-то из родителей прельстили отменой ежегодной платы, на кого-то слегка надавили, припоминая дочерние проблемы с поведением и прилежанием. Против ожидания, на гимназистов особенного впечатления эти события не произвели: живя в меняющемся мире, они были, в общем, заранее готовы к тому, что столетняя традиция, заставлявшая их отъединяться на какое-то время от представительниц другого пола, будет нарушена. Не видя в ней ничего сакрального, а лишь почитая ее немного косным и отчасти трогательным следованием обычаям прежних времен, они без всякого сожаления ее отвергли, сочтя хорошей заменой те выгоды, которые приобретались от совместного обучения. Напротив, для педагогической части гимназии это означало полную катастрофу сложившегося мира, бегство одного из трех слонов, так уютно доселе топтавшегося на спине державшей вселенную черепахи.

Впервые столкнувшись с организованным извне напором, посягавшим на одну из основ их существования, гимназические преподаватели из рассудительных премудрых громовержцев (которыми они представлялись не столько ученикам, сколько самим себе) превратились вдруг в перепуганную толпу немолодых неухоженных мужчин. Все профессиональные проблемы, с которыми им приходилось встречаться до этого, сводились к давно знакомому и прекрасно известному набору: нелепые директивы Министерства народного просвещения, сезонная прижимистость филантропов, вспышка отчаяния родителей исключенного ученика. Здесь же они имели дело с непонятным предметом, при неясных обстоятельствах вспоровшим обшивку их корабля, – и вода прибывала через образовавшуюся течь.

Большая часть учителей приняла новации с профессиональным фатализмом (а иные, никогда не решившиеся бы признаться в этом на общем собрании, и со сдержанным оптимизмом). Единственной явной жертвой среди педагогического состава оказался преподаватель немецкого Жан Карлович, который, с облегчением отпустив вожжи своего причудливого русского языка, заявил, что «маленький ехидна учить не взялся», прервал контракт, собрал чемоданы (изумительные, из телячьей кожи, с латунными монограммами – но почему-то разными) и отбыл к себе в Швейцарию. Остальные же учителя постепенно привыкали к новому порядку вещей, обнаруживая, что в педагогическом плане различие полов не настолько глубоко, как в прочих областях, и что среди гимназисток по мере отвердевания сложной, почти паутиной тонкости внутриклассовой иерархии обнаруживаются такие же ролевые модели, как и в мужских сообществах, – и, грубо говоря, к сидящим лицами к кафедре Пульчинеллам и Скарамусшам добавятся теперь Коломбины и Изабеллы – и только. Среди двух десятков учениц, единомысленно перешедших в Поливановскую гимназию, источником существенных неприятностей была лишь одна, вскоре пополнившая своими экстравагантными поступками школьную летопись, втайне ведомую директором, поливановцем в четвертом или пятом поколении. На одном из уроков Закона Божьего она бросила чернильницей в стену, объяснив позже преподавателю,

что целила в черта, который именно во время проповеди появился на крайней парте и стал ее искушать («Как искушать?» – «С помощью хвоста»). Тогда дело было замято, чтобы не привлекать общественного внимания к трудным взаимоотношениям полов в классическом образовании, но в следующий раз речь пошла уже об исключении бунтарки. Во время одной из перемен, в помещении столовой поспорив с буфетчиком Пастилой, который отозвался как-то оскорбительно не то о женском поле и его образовательных перспективах в целом, не то о конкретной его представительнице, смиренно ожидавшей порцию саламаты, пирожок и какао, она (та же самая гимназистка), перегнувшись через стойку, больно укусила его за руку. Буфетчик же (неожиданно для разбиравших это дело педагогов, но, кажется, и для себя самого) куснул ее в ответ; впрочем, не обладая девичьей гибкостью и реакцией, укусить он смог лишь рукав ее форменного платья, за который, в довершение беды, зацепилась его вставная челюсть. Гимназистка, оторопев от нападения, бежала из столовой прочь под нечленораздельные вопли Пастилы, поневоле унося с собой клацающий трофей. Была шумная история, проводились отдельные беседы с обоими участниками конфликта, челюсть была найдена и с извинениями возвращена владельцу... в общем, инцидент мало-помалу сошел на нет, хотя и не без последствий для вовлеченных в него и для школы в целом. Именно эта бывшая гимназистка могла сейчас ждать Никодима в его квартире, и как раз это обстоятельство останавливало его от того, чтобы поспешить домой.

11

Родословие Вероники Липановой могло бы, если бы не трагические обстоятельства, иллюстрировать старинную, кажется, арабскую апорию (отличное было бы название для ресторана или бабочки) о последовательной замене у кинжала клинка и рукояти – тот ли это кинжал, что был, или уже нет? Отец ее сделался жертвой диковатого розыгрыша, сочетавшись браком без всякого собственного желания и ведома с двумя неотличимыми друг от друга близняшками: кажется, одна из сестер в период жениховства попросила другую заменить ее на свидании, оказавшемся решительным: первой сделалось обидно, что так долго и умело взращивавшийся плод сам скатился в ленивые (но вовремя подставленные) ладони сестрицы, и она пригрозила разоблачением; та же, вкусившая не без удовольствия от древа познания, предложила хитроумный компромисс, который и был исполнен. Ничего не подозревающий бедолага, проведя вокруг аналоя свою избранницу, получил, как в дни универсамной распродажи, вторую бесплатно – и все участники этого полуприкровенного *ménage à trois* наслаждались происходящим, причем лопухий муж получал свою дозу пряности, не вполне понимая, откуда она берется, но заражаясь воодушевлением той, с кем в эту ночь он делил ложе. Несмотря на некоторые процессуальные трудности (не всегда было просто соблюсти тождество в нижнем белье или объяснить неожиданно поразившую забывчивость относительно утреннего или вчерашнего разговора), эта тяжеловесная игра продолжалась несколько лет, пока одна из озорниц, вопреки уговору, не забеременела. Вторая изо всех сил старалась, покуда различие сроков не бросилось бы в глаза, последовать за ней, но Кандид, по всей вероятности, оказался однозарядным, так что пришлось ей, на время затаив досаду, сойти со сцены, оставшись за кулисами. Откуда она, впрочем, не замедлила выпрыгнуть при весьма драматических обстоятельствах: ее сестра, рожая будущую Веронику (а на тот момент – полузадушенный синеватый комочек, впрочем, несомненно женского пола), истекла кровью и умерла. Сестра ее не могла не явиться на похороны – ибо степень их близости, благодаря описанным обстоятельствам, была даже выше, чем обычно бывает у двойняшек. В строгом трауре, в черном плаще, в шляпе с темной вуалеткой, она подходила к гробу, когда неожиданный порыв шаловливого ветра сорвал с нее напрасную маскировку; собравшиеся скорбящие во главе с безутешным вдовцом (которому не разрешили ненадолго привезти на кладбище новорожденную) могли наблюдать удивительную картину: точная копия покойницы, вприпрыжку несущаяся за улетающей вуалью.

Несколько дней спустя произошло еще одно объяснение (по странной случайности выжила та из сестер, которой некогда удалось впервые растревожить опасливого романтика), после чего необыкновенная семья воссоединилась: конечно, главным аргументом был тот, что пребывающая на небесах несчастливая соперница (но заботливая жена и мать) непременно этого хотела бы. Прожили они в таком составе несколько лет, после чего муж (и отец Вероники) был унесен одной из тех бурных и скоротечных тропических болезней, которые иногда, как призрачные всадники Чингисхана, набегали на нас откуда-то из восточных степей и, скоротечно собрав свой ясак, растворялись в воздухе. Веронике было семь лет; мачеха ее вскоре вновь вышла замуж за мелкого театрального служащего из породы бывших волонтеров, что в юности прибиваются к драматическому кружку, пробуются на разные роли, но благодаря полному отсутствию таланта или косноязычию (а чаще – и тому и другому вместе) всюду бывают отвергнуты. Не унывая и будучи не в силах оставить подмости, они остаются при трупше на технических ролях – подсобных рабочих, помощников декоратора, суфлеров, – с годами делаясь незаменимыми хранителями традиций. Тем, кому повезло попасть в театры побогаче, можно не искать иной работы, служа официальным ассистентом Мельпомены с хотя и скромным, но регулярным жалованьем, – таков был и свежеиспеченный Вероникин отчим.

Имел он, помимо театра, и еще одну страсть – рыбную ловлю. Круглый год, за исключением недолгого времени, которое милосердные правила отводили подводным жителям на то, чтобы перевести дух и наскоро отнереститься, он проводил выходные вблизи какого-нибудь водоема. Его законопослушная блесна опускалась в воду ровно через пять секунд после полудня первого разрешенного для ловли дня и пребывала там до того ясного осеннего утра, когда, заброшенная, она стучалась о свежий, еще прозрачный ледок. Тогда наступало время путешествий: на работе брался отпуск, а сам он отдрейфовывал все дальше на юг, подобный крупной, нелетающей, но несомненно водоплавающей птице, покуда на пути его не возникали места вовсе безводные или непроходимо чуждые. Во время нескольких встреч с Никодимом, когда тот провожал Веронику домой или заходил к ней по какому-нибудь гимназическому делу, отчим с первых слов заводил комично схоластический разговор о преимуществах, например, одного рыбацкого узла перед другим – притом что Никодим ничем подобным не интересовался вовсе – да и вряд ли, как казалось ему уже впоследствии, тот мог бы различить Вероникиных одноклассников между собой: разве что один из них оброс бы чешуею. Впрочем, была в одном из его рассказов и занимательная часть: что-то про пески, бесконечную степь, завязнувшую машину, звездную ночь и оглушающий рев торжествующих цикад – мгновенный снимок, сделанный с освежающей старательностью человеком, единожды в жизни на секунду открывшим глаза и оглядевшимся вокруг.

Когда же наступление зимы делалось бесповоротным, он возвращался в Москву и переменил снасть: длинные, черные удочки (каждая из которых стоила как золотая табакерка) убрались в особые замшевые чехлы, а на смену им извлекались маленькие белые, предназначенные для подледной ловли. К носику каждой из них, как объяснила жмурящаяся от отвращения Вероника, когда Никодим однажды, будучи в гостях, заинтересовался их устройством, привязывалась тонкая, паутинного калибра леска, к которой крепилась серебристая или золотистая капелька-мормышка с ювелирно сработанным крючком. Этой снастью, добавив к ней кроваво-красного червячка, рыболов подергивал перед носом мерзнувшей в ледяной воде рыбы, покуда та, раздраженная, не склевывала ее, что в практическом смысле означало скорый и неизбежный переход между мирами, причем двойной: из воды на воздух и из царства живых в королевство мертвых. Во время одной из таких экспедиций автомобиль, в котором были Вероникин отчим с мачехой, провалился под лед одного из подмосковных водохранилищ: сам театрал водить машину не умел, так что машиной всегда управляла его жена. Как говорила Вероника в минуту раздражения, в этом наличествовал элемент высшей справедливости – он наконец вознаградил собою потомков своих обычных жертв за то многолетнее убийственное наслаждение, которое они ему обеспечивали: спутница же, как это часто бывает, случайно попала под руку. Веронике досталась от них небольшая квартира у Калужской заставы, крупная сумма по страховке и стойкая аллергия к рыбе.

После окончания гимназии Никодим на несколько лет потерял Веронику из виду: класс их был недружным, так что встречи выпускников, обычные для того времени, не собирались – среди них не оказалось энтузиаста (которым обычно становился тишайший некогда юноша, школьный серый мышь, вдруг переменивший после выпуска характер и амплуа, вследствие чего нуждавшийся в ретроспективной реабилитации после гимназических моральных травм). Их неожиданное свидание подстроила судьба, взяв в ненадежные союзники московскую погоду: в один из весенних дней Вероника, застигнутая грозой за выполнением редакционного задания (она подвизалась во время практики нештатным корреспондентом в ежедневном «Утре России»), нашла укрытие под козырьком Никодимова подъезда, где он ее и обнаружил, возвращаясь домой из соседней лавки под зонтиком и с пакетом снеди. Между предложением проводить ее до трамвая и переждать грозу в квартире она без колебаний выбрала последнее, молча оценив и Никодимову спонтанную галантность, и спартанскую чистоту его жилья, не рассчитывавшего на нежданную гостью. Он приготовил легкий ужин (по счастью, карп, бро-

савший на него час назад выразительные взгляды из магазинного аквариума, там и остался, а куплены были спаржа и миндаль), открыл бутылку крымского вина. Гроза, неопасная уже, как тигр в зоопарке или холерик за кафедрой, бушевала за темнеющими окнами: Никодим запретил при ремонте менять старые, грубые стекла с отчетливо неровными гранями и капельками воздуха внутри, так что взгляд наружу был – как сквозь оптический прибор. Света они не зажигали: обоим казалось, что мизансцена требует пламенеющих свечей, но Веронике было неловко предложить это первой, опасаясь, что у Никодима их в хозяйстве не окажется (а на заднем плане вызревало уже опасение, что если вдруг найдутся, то трудно будет отделаться от мыслей о предыдущей гостье); Никодим же, обладавший значительным их запасом, масштабы которого связаны были не с его гипертрофированным любовным опытом (коего не было и в помине), а просто с плачевным состоянием электрической проводки в старом, на тяп-ляп построенном доходном доме, боялся спугнуть таинственно воцарившееся между ними, но бесспорно хрупкое настроение. Вероника встала и, с бокалом в руках, приблизилась к окну. «Кажется, гроза кончается». Никодим обогнул стол и подошел к ней сзади. Она повернулась. Как в эти минуты мешают лишние предметы что влюбленному, что романисту! Она, не глядя, поставила бокал с багряным вином на темно-синюю скатерть и положила руки на плечи Никодиму; тот осторожно обнял ее. «Номо erectus», – констатировала она очевидное (кто читал тебе антропологию, голубка?) и, взяв его за руку, огляделась в незнакомой пока еще квартире, не понимая, куда идти.

12

Через несколько дней они не то чтобы съехались и стали жить вместе, но она как-то отчасти перебралась к нему. В третьем рассказе из «Несобранного» Шарумкина, который Никодим прочитал, сидя в тени исполинского вяза среди галдящих детей в маленьком сквере на Поварской, рассказывалась история одного меломана, влюбившегося в певицу. Дело осложнялось тем, что он жил в большевистской Латвии с наглухо закрытыми границами, а она – в Берлине. Тогда хитрюга задумал переправить себя через кордон частями: сперва он подкупил знакомого краснодеревщика, чтобы тот аккуратно отъял ему мизинец на левой руке при помощи циркулярной пилы. Наложив заранее приготовленный жгут на рану, он отправился в больницу, чтобы ему остановили кровотечение и перевязали оставшуюся фалангу (полотно пилы было заранее продезинфицировано, причем часть обеззараживающего средства затейники употребляли и внутрь, чтобы не бояться). Мизинец же, о судьбе которого тщетно допытывались в приемном покое, был заботливо извлечен из опилок, куда он скатился в пылу неофитской ампутации, и отнесен таксидермисту, который сделал из него почти совершенное чучело, – после же в красивой коробочке отправился в Шарлоттенбург, по адресу, извлеченному из одного чудом допорхавшего до Кулдиги музыкального журнала. Воодушевившись историей с мизинцем, герой стал подумывать о безымянном на той же руке – но тут восстал столяр, который, начав после предыдущей операции принимать целебный эликсир ради успокоения нервов, до сих пор не мог остановиться. Обращаться с таким деликатным вопросом непосредственно в хирургическое отделение больницы в Тукумсе было немыслимо, но обладателю девятнадцати оставшихся пальцев не терпелось расстаться с парой-тройкой из них, так что он попробовал свести знакомство с местным мясником, подозревая в нем значительно большую крепость нервов, нежели у оказавшегося вдруг тонкокожим краснодеревщика. В результате значительных ухищрений, описание которых растянулось на несколько десятков страниц, влюбленному удалось переправить большую часть своего некогда единого организма прямо в руки объекту своей напрасной страсти.

Эта фрагментарная телепортация напомнила Никодиму первые недели совместного быта с Вероникой: она, не поселяясь прямо у него, оставляла метки, маленькие символы, чудесные сувениры своего присутствия: горшочек с диковинным цветком, похожим, прямо сказать, на маленькие зеленые ягодицы карликового гнома, что-то ищущего в земле; игрушечного розового поросенка с одним глазом, что придавало ему вид одновременно ухарский и печальный; зубную щетку; первый, третий и пятый тома Киплинга (четные канули вместе с материнской библиотекой); ночную рубашку с вышитой строчкой «Татьяна прыг в другие сени»; большую запечатанную шкатулку, которую она запретила ему открывать и откуда доносилось то странное благоухание, то какие-то таинственные звуки, – и много чего еще, что продолжало обнаруживаться еще многие недели спустя, а порой неожиданно исчезало. Ее вспылчивость (прорывавшаяся, впрочем, иногда неожиданными пароксизмами нежности) делала сосуществование с ней нервным, трудоемким и неприедающимся, по крайней мере поначалу. Несовпадение их привычек было смехотворным до катастрофичности: привитая матерью педантическая добросовестность Никодима по всем фронтам вступала в столкновение с Вероникиной безалаберностью высшей пробы. Оставив вскоре журналистику и неожиданно перейдя работать в театр, где трудился прежде ее отчим (она самокритично говорила, что держат ее там как редкий экспонат – за фатальное отсутствие интереса к театральному искусству), она попала однажды на лекцию одного из патриархов-теоретиков. Седого, розового пухлявого старичка с белоснежным венчиком вокруг блистательной лысины притаскивали на носилках, как египетскую царевну, четыре обливающихся потом аспиранта в черных костюмах; сам он сидел насупившись и перебирая темные четки. Въехав таким образом на сцену (причем когда один из носильщиков осту-

пился и носилки покачнулись, старик вцепился-таки, поморщившись, в поперечину) и будучи поставлен рядом с кафедрой, на виду у замершего зала он, отказавшись от помощи отдувающих ассистентов, медленно встал, обнаружив неожиданно классическое сложение: длинные ноги, широкие плечи. Одет он был в подобие хитона или рясы. Лекция была посвящена происхождению театра из культа древнегреческого бога Диониса – и, вернувшись домой, Вероника объявила Никодиму, что он, Никодим, представляет собой аполлоническое начало, светлое и упорядоченное, а она, напротив, дионисийское, темное и хаотическое. Что не помешало им прожить в сравнительном спокойствии несколько лет, по молчаливому уговору не заговаривая ни о венчании, ни о детях (учитывая обстоятельства ее появления на свет, это было более чем благоразумно), ни о дальнейших жизненных видах. Большую часть времени они жили в квартире Никодима, но на одну-две ночи в неделю Вероника возвращалась к себе, чтобы, по ее выражению, освежить ощущения. Иногда, впрочем, они оба перебирались к ней, обставляя это то как отъезд в эмиграцию, то как поездку на курорт (это была ее игра, но он охотно в ней участвовал): рисовали компактный плакат «долой самодержавие», собирали полотенца, солнцезащитный крем, договаривались с воображаемой соседкой, чтобы она кормила несуществующую кошку, и с двумя пустыми чемоданами шли к стоянке такси. Впрочем, в последние месяцы в хрустальном звоне этого союза появилась, где-то в отдалении, глуховатая нота.

Когда Никодим (что бывало, впрочем, нечасто) задумывался об аллегории их союза или когда ему попадалась в блестящем журнале, где рекламы было больше, чем иллюстраций, а последние совокупным объемом значительно превышали текст, слащавая история о счастливом браке, всегда представлял одну и ту же картину – двух осьминогов, сплетенных в объятии, – и только теперь, задним числом, он сообразил, что это было рассуждение вполне в отцовском вкусе. Несмотря на заведомую статичность изображения, ему показалось, что приблизительно с зимы осьминожки объятия стали ослабевать. У них была любимая игра в ассоциации: когда молчаливый завтрак (оба не терпели ранних пробуждений) прерывался случайной репликой, другой обязан был немедленно спросить: «Почему ты так сказала?» (или «сказал»), чтобы вытащить на свет всю цепочку алогично сцепленных друг с другом мыслей, демонтировать фрагмент умственного механизма. Оказывалось, что замечание Вероники о Китае имело своим источником беглый взгляд на иссякающую баночку с медом: где мед, там и пчелы (это понятно), потом она подумала о птицах, питающихся пчелами, потом об их ежегодных миграциях на юг, о зашитых в память маршрутах, о высоких горах на пути, о том, как, должно быть, странным для альпиниста, медленно замерзающего где-нибудь в ледниках Гиндукуша, окажется увидеть изможденную, но вполне живую ласточку, пролетающую в Сычуань, где ее гнездо послужит деликатесом для местного толстосума.

Восстанавливая, уже в одиночку, череду событий, приведшую к их нынешнему охлаждению, Никодим вел отсчет от январского вечера минувшей зимы. Они шли вдвоем на художественную выставку одного из Вероникиных приятелей: Никодим, угрюмый домосед, не терпевший холода примерно в той же степени, что и богемы, направлялся туда нехотя, в отличие от спутницы, которая, напротив, находила в развлечениях подобного рода особенный вкус, сродни, может быть, удовольствию от чтения современного романа, в котором на бесстыже торчащие ребра сюжета хамски натянута прогрессивная шкура идеологии, оммаж седобородым законодателям вкусов из «Современного мира» – так что любование прямолинейностью сочинителя проносит читателя по ту сторону наслаждения. Они шли в районе Сретенки, по плохо освещенным дворам, нужно было обойти небольшую краснокирпичную церковку, остававшуюся здесь с тех недавних времен, когда местные кварталы служили главным в Москве гнездом разврата: очевидно, скромность ее вида и неброскость местоположения были компромиссом между прямым обличением доходного порока и полным оставлением паствы без окормления. Вероника пошутила на предмет того, что, учитывая место, храм правильнее освятить в честь Марии Магдалины, – и буквально в этот момент земля у нее ушла из-под ног, и, поскользнув-

шись на невидимом, прикрытом снегом ледяном пятне, она, вскрикнув, упала навзничь и проехала на спине несколько метров.

Подбегая к ней, помогая подняться, отряхивая шубку и произнося все те ритуальные глупости, что положено говорить в этой ситуации, Никодим чувствовал к ней (как он понял потом) только жалость, всевозрастающую жалость, из которой, как опухоль, проросло чувство, погубившее их отношения. Произошло это, конечно, не сразу: в тот вечер они прекрасным образом добрались до вечеринки и еще рассказывали, посмеиваясь, о своем приключении. Но уже несколько дней спустя Никодим начал ощущать, как тяжеловесное сочувствие медленно проедает дыры в том неясном, таинственном, волшебном, что несколько лет клубилось между ними. У Вероники справа над верхней губой была небольшая темная родинка, по ее убеждению, придававшая ей пикантности. В эти годы переживала третий или четвертый ренессанс манера носить мушки – на щеке или в декольте, как бы облегчая фокусировку в нужных местах туповато блуждающему вождеющему взгляду: благодаря этому любые природные подобию мушек особенно ценились. Не склонный к фетишизму Никодим не обособлял ее от прочих черт милого ему облика: высоких скул, коротких темных волос, карих глаз; в тех редких случаях, когда Вероника считала нужным посоветоваться с ним относительно перемен во внешности, он всегда просил оставить все как было и ничего не менять: скорее не из опасения метаморфоз, а из здоровой склонности к консерватизму. Но здесь, спустя несколько дней после того, что Вероника, посмеиваясь, называла «моим падением», он стал эту родинку замечать: ее ровные края, пробившийся почти из центра короткий загнутый волосок, легкий пушок над верхней губой (так возбуждавший героев Толстого и, может быть, и самого графа) – все это разладило его взгляд и его чувства. Как в раскрытом цирковом фокусе за легким триумфальным представлением вырастают вдруг в ухудшающейся перспективе годы тренировок, тонны испорченного реквизита, шрамы на коже и скрюченный уродец, споро отползающий в темноте от места, где сейчас окажутся зубья циркулярной пилы, так и здесь за цельным впечатлением живой Вероники стал вдруг определяться ненадежный сложносоединенный механизм с неаппетитной физиологией и предсказуемым поведением. Если рассуждать в терминологии книг, обложки которых принято заворачивать в крафтовую бумагу, чтобы не веселить соседей в метро, он не разлюбил ее, но стал за ангельской маской различать смертную сущность – и это поколебало его картину мира в гораздо большей степени, чем могла бы сделать короткая его или ее интрижка с кем-нибудь посторонним.

Чуткая и самолюбивая Вероника почувствовала это почти мгновенно – и после нескольких попыток так называемого «серьезного разговора» (заведомо обреченных за отсутствием предмета для последнего) стала мягко, но аккуратно сокращать свое присутствие в его квартире и жизни. Никодим испытывал сложную смесь печали и облегчения: ее присутствие слегка тяготило его, но мысль о полной ее утрате казалась невыносимой. Для него, казалось, было бы идеальным, чтобы она вдруг сделалась заключенной в какой-то стеклянный короб, где он мог бы ее навещать; иногда, в тяжеловесно игривую минуту, он раздумывал, что хорошо бы спрятать ее в какой-нибудь погреб или запереть в дальней комнате. Порой в нем шевелилось предчувствие глухой ревности: мысль о том, что Вероника окажется с кем-то, будет с ним ужинать, завтракать, спать, гулять, а еще, чего доброго, рассказывать что-то про их минувшую жизнь, была ему болезненна до крайности. Впрочем, и тянущаяся пока процедура мягкого расхождения была ему не по душе. Еще не разорванные до конца связывающие их нити обычно подсказывали ему, когда она собиралась его навестить – или чтобы забрать что-то из своего имущества, или просто посидеть на кухне с чашкой кофе или чая, покуривая, выпуская дым в окно и поглядывая на Никодима с характерной для нее лучистой смесью надменности и приязни. Невинные эти свидания (в «буйстве плоти», как это называла Вероника, ему давно уже было отказано) Никодима скорее тяготили, но избегать их, сказываясь больным или не подходя к телефону, ему казалось недостойным. Предчувствуя очередной молчаливый вечер,

Никодим медленно, нога за ногу, зашел в подъезд, и сразу томное предчувствие вылетело у него из головы: в почтовом ящике покоился плотненький конверт с финским штемпелем – и, значит, его ожидал очередной заказ.

13

Обстоятельства, при которых Никодим получил несколько лет назад свою нынешнюю работу, тоже числились им по разряду стороннего вмешательства: божественного или отцовского. В одно ничем не отличающееся от других воскресное утро он извлек из почтового ящика вместе с ворохом счетов, реклам и особенным номером «Утра России» (которое по выходным настолько тучнело, что с трудом пролезало в щель) голубоватый конверт демонстративно иностранного вида, посланный на его имя неразборчивым отправителем из полустертой страны. Конверт содержал в себе билет первым классом до Гельсингфорса, чек на тысячу финских марок и глянцевую открытку «Поздравляем», на обороте которой бисерным почерком было написано, что Никодима ждут такого-то числа (через неделю) в таком-то номере гостиницы «Континенталь» в Гельсингфорсе и что номер этот уже оплачен. Никодим перевернул открытку: там два зайца (один из них взгромоздившись на лыжи) лакомились морковкой; на заднем плане виднелся бревенчатый домик с надписью «Сауна»; из полураспахнутых его дверей выходил пар и призывно махала лапкой явная зайчиха.

Сперва он счел это неостроумным розыгрышем, но посещение банка (откуда, между прочим, немедленно позвонили и наябедничали матери) его разубедило: чек был самым настоящим, так что выданная по нему тысяча в десяти стомарочных купюрах, с которых похотливо улыбался какой-то национальный усач, приятно отягощала его бумажник. Позвонила мать с вопросом, что это за штучки с марками. Никодим, который до этого момента собирался посоветоваться с ней, возмутился и тоном, и содержанием претензии, так что отвечал уклончиво, но засобиравшись в дорогу. Столь же полноценно подлинным оказался и билет, открывший ему доступ в удивительно старомодный, с тяжелой роскошью, вагон Международного общества скорых поездов, построенный чуть ли не в 1910-х годах – с бархатными диванами, бронзовыми лампами, плевательницами, полированными столиками и услужливым старичком-проводничком, странно шмыгавшим носом. Много позже Никодим случайно узнал, что старичок в дополнение к скудному железнодорожному жалованью подрабатывал перевозкой кокаина в промышленных масштабах, причем подходил к делу настолько ответственно, что считал своим долгом самостоятельно дегустировать каждую партию, чтобы не подвести доверившихся ему получателей; выяснилось это, когда однажды где-то в районе Выборга он вдруг вышел на захластном полустанке и навсегда растворился в высоких, выше человеческого роста, пахучих зарослях иван-чая, под гулкое гудение обезумевших от аромата шмелей.

Проведя бессонную ночь на тяжелом плюшевом диване, который, казалось, в качестве одористического хранилища впитал в себя все запахи, встречавшиеся ему в жизни – от пролитого просекко до терпкого мужского одеколona, наводившего на мысли о плаце, барабанном бое, шпицрутенах и смазных сапогах, Никодим с тяжелой головой прибыл в чистенький, до блеска отмытый Гельсингфорс, где, казалось, даже собравшиеся на площади голуби неразборчиво ворковали на финноугорском диалекте. Отель был в километре от вокзала, как объяснил, усугубляя грусть от несбывшихся надежд, носильщик, подскочивший к вагону первого класса и болезненно разочарованный скудостью Никодимова багажа. Отвергнув таксомоторы и трамвай, он пошел пешком – между мрачных, облицованных гранитом правительственных зданий, разлаписто настаивавших на собственной столичности, хрустальных витрин, через широкую тенистую аллею, на которой – шарк, шарк! – синхронно ровняли метлами мелкий гравий бородастые дворники, к заливу со свинцовой водой и примыкавшей к нему площади, где толпился молчаливый рыночный торг и пахло жареной рыбой. В гостинице, где он назвал свое имя, на него посмотрели приветливо, но как бы немного и удивленно и, не потребовав даже паспорта (который ему пришлось в спешке оформлять, для ускорения процесса слегка подмазав швейцара), вручили ключ от номера, выглядевший совершенным исполином по сравнению

со своими домашними собратями: вероятно, чего-то в этом роде тщетно ожидал Наполеон под Москвой. Номер был на четвертом этаже; чернокожий лифтер явно хотел что-то сказать ему, но ограничился тем, что зажмурился и оставался с закрытыми глазами все время, покуда они, медленно содрогаясь, ехали вверх. В огромном номере с видом на залив, под хрустальной люстрой сидел в кресле самый высокий человек, которого Никодим видел в жизни, и чистил перочинным ножиком ногти. «Густав», – представился он, вставая и протягивая руку. Задетые им подвески люстры музыкально зазвенели.

На его визитной карточке значилось место работы «Die Mnemosyne», почему-то по-немецки. В двух словах он объяснил суть дела: после событий 1917–1918 годов (что было известно и Никодиму) десятки тысяч граждан Российской империи, выступавших на стороне большевиков, оказались выдвинуты за ее границы. К этому добавились сотни тысяч, оставшиеся в национальных республиках, которые правительство Червен-Водали безжалостно отсекало от страны, как опытный хирург ампутирует пораженную антоновым огнем конечность, чтобы спасти организм в целом. После законодательного запрещения коммунистической партии и тотальной проверки всех прикосновенных к ее деятельности лиц возможности возвращения для них резко сузились: известно, как один из эсеровских руководителей, привыкший свободно, не снимая широкополой шляпы и серого парижского пальто с туберозой в петлице, циркулировать между Нерчинской каторгой, петроградскими редакциями и набережной Женевского озера, был до глубины души удивлен, получив в 1922 году за незаконное пересечение границы (которое по довоенным временам и преступлением-то не считалось) увесистый тюремный срок, – и больше всего его поразило отсутствие в зале суда восторженных курсисток с букетами, готовых приветствовать неминуемое освобождение.

Судьба этих вольных и невольных эмигрантов сложилась очень по-разному. Латышская дивизия, почти без потерь отступавшая под напором калединских войск, сшибла, не заметив, вялое местное временное правительство и образовала на территории бывших Лифляндской и Курляндской губерний первую в мире полностью коммунистическую республику. Ее основатель и бессмертный руководитель Фабрициус, по слухам, несколько лет уже находился в полубессознательном состоянии: единственной его безусловно живой и процветающей частью были легендарные усы, не перестававшие расти, невзирая на плачевное положение владельца. Первые несколько лет Латгальский социалистический союз готов был сделаться витриной и маяком для мирового рабочего движения, но его многочисленные симпатизанты из разных стран предпочитали восхищаться им на расстоянии, не торопясь ни переезжать поближе, ни пускать собственные страны по той же тернистой стезе. К началу 1950-х годов он окружил себя с трудом проницаемыми границами и замкнулся в них: о человеке, впавшем в подобное состояние, сказали бы, что у него приступ меланхолии, перемежающейся вспышками агрессии.

Осевшие в Европе бывшие большевики распределились там неравномерно: больше всего их было в традиционно благодушных Германии, Швейцарии, Франции; меньше – в Чехословакии, Болгарии, Румынии. Селились они по преимуществу колониями так, чтобы уменьшить контакты с местным населением: имели свои магазины, рестораны, газеты и кружки; собирались, пели «Интернационал» и мечтали о триумфальном возвращении на родину. Бывая за границей, Никодим ради интереса заходил иногда в русские кварталы крупных городов, видел вывески трактирчиков «Коба» и «У Лаврентия» (диаспора решительно предпочитала кавказскую кухню), проглядывал номера «Женевской правды» (тщательно, впрочем, следя, чтобы экземпляр-другой случайно не заполз в багаж: на таможне могли случиться крупные неприятности) и, храня национальное инкогнито, с интересом вглядывался в лица прохожих, а особенно играющих детей, которых никак, ни при каких условиях нельзя было спутать с местными.

Попытки некоторых из них вернуться в Россию, еще достаточно частые в 20-х и начале 30-х годов, к 40-м полностью иссякли: официальная процедура требовала сложнейшей, чуть

не многолетней проверки лояльности и заканчивалась категорическим отказом при малейшем подозрении в большевизанстве. Нелегальный переход границы был обречен: правительство, обнаружив в 1917 году, что вся система внутренней и внешней обороны распозлзлась, как гнилая холстина, вкладывало миллионы в укрепление безопасности, доходя порой до мер, которые в других обстоятельствах казались бы параноидальными. Столь же бесперспективна была и мимикрия под европейских туристов: обособленная жизнь за границей сыграла с эмигрантами злую шутку, отбив у них последние способности к маскировке, – любой, самый ленивый пограничный контроль легко выявлял среди пассажиров экскурсионного автобуса пару самонадеянных бедолаг, неумело имитирующих непонимание русской речи.

Сейчас, по прошествии нескольких десятков лет, они заслуживали не опасения, а сострадания: убедившись в крахе надежд и тщете верований, они доживали свой скромный век в опостылевших европейских резервациях, снедаемые ностальгией, – и именно последнее чувство собирался облегчать и врачевать тогдашний Никодимов собеседник. Сперва ошалевшему от вагонной ночи Никодиму показалось, что речь пойдет о банальной контрабанде, и он готов уже был отказаться, не дослушав, но выяснилось, что дело, задуманное Густавом, замысловатей и изысканнее. Он предполагал – и даже имел определенную уверенность, что среди состоятельных бывших большевиков (которых оказалось немало) должен быть весьма значителен спрос на живые свидетельства из мест их бывшего обитания, сувениры и изображения прошлой жизни, от которой они были навсегда отторгнуты. Никодиму предлагалось такого рода свидетельства раздобывать, а Густав брал на себя поиск покупателей и все расчеты с ними. Звучало это на первый взгляд диковато, но в активе у будущих концессионеров был уже один действительный и подтвержденный щедрым авансом запрос: владелец русской библиотеки-читальни в Лозанне, предусмотрительно успевший загодя переправить к молчаливым и равнодушным швейцарским банкирским гномам состояние и оттого не стесненный в средствах, интересовался судьбой своей бывшей подмосковной усадьбы, состоявшей по совместительству оружейным складом для заговорщиков и оттого разгромленной летучим корпусом жандармов в первые же дни восстания. От Никодима требовалось добраться до усадьбы, сделать несколько фотографий, написать короткий отчет и, главное, на чем особенно настаивал латифундист в изгнании, собрать семена древних лип, образующих могучую, ведущую к господскому дому аллею, насаженную его прапрадедом: предполагалось, что в нынешнем своем уединении он вырастит из них точные биологические копии, благодаря чему в кантоне Во появится свое Милосердово (так называлась усадьба). Никодиму был выдан кодак, обратный билет и гонорар, обещавший два-три месяца относительно безбедной жизни. В заключение он поинтересовался у Густава, почему тот выбрал именно его. «Имел самые лучшие рекомендации-с», – ответил тот, поглядывая на часы и откланиваясь. Часы были крупные, тяжелые, золотые.

Удивительно, но первый этот опыт с ревизией имущества лозаннского книгочея прошел на удивление гладко, без сучка и задоринки. Вернувшись в Москву, Никодим спустя несколько дней выехал на утреннем поезде в Серпухов, там пересел на местный рабочий состав, на конечной станции которого легко сговорился с водителем фургончика, едущим в сторону ближайшей к Милосердову деревни. Последняя оказалась устроенной по принципу финского хутора: несколько десятков вразнобой стоявших поодаль друг от друга домов, окруженных бескрайними полями, по которым ползали разноцветные хозяйственные механизмы. Первый же встреченный пейзажник охотно подсказал дорогу к позаброшенному барскому дому: на нем висела поветшавшая от времени вывеска «Народная изба общества трезвости графини Е. П. Калачовой», а сам он был безнадежно нежилой – с осыпающейся штукатуркой, выбитыми кое-где стеклами и общим ощущением ненужности и неприкаянности: очевидно, либо трезвость была здесь не в почете, либо графиня Е. П. Калачова не смогла найти тех самых единственных слов, открывающих доступ к крестьянскому сердцу. Любопытно, но Никодиму последнее удалось без труда: тот же бравый юноша, который подсказал ему дорогу и деликатно следовал в

некотором отдалении, охотно рассказал, что раньше в этом доме действительно проводились хоть и редкие, но регулярные лекции или фильмовые показы, но уже несколько лет он стоит пустым. «А почему, – поинтересовался Никодим, – его никак не приспособят под общественные нужды?» «Неладно там», – отвечал паренек и загрустил. Оказалось, что в здании этом и в его окрестностях регулярно появляется тень, как выразился он, «барина», то есть бывшего владельца, и оттого в местных кругах оно пользуется репутацией «нехорошего». Никодим, только что получивший от вполне живого барина кругленькую сумму (самого его, впрочем, в глаза не выдавший), мог бы попытаться его разубедить, но не стал, занявшись делом: сфотографировал дом с полузаросшей, но все еще видной подъездной дорожкой, потом, путаясь в молодом подлеске и крапиве, обошел его по периметру, делая снимок за снимком, затем для очистки совести подергал дверную ручку (дверь была заперта) и, наконец, воспользовавшись присутствием аборигена, зачарованно наблюдавшего за его занятиями, попросил запечатлеть себя на фоне парадного входа и вывески. Наконец в специально заготовленный конверт были собраны несколько липовых семечек, в изобилии валявшихся под ногами (Никодим, помнится, подумал еще, какая невероятная, феноменальная случайность в том, что бесчисленные мириады их склюют дрозды, а полтора десятка прозябнут в Швейцарии). Сперва он хотел в качестве бонуса добавить пару плодов из бывшего господского сада, где, дичая, вырождаясь и отступая под гнетом напирającego леса, доживали свой век несколько яблонь с призывно розовеющими плодами, – но решил, что это будет чересчур.

На другой день, проявив и распечатав карточки в ближайшей лаборатории, он отправил пакет с фотографиями и семенами по гельсингфорсскому адресу и вскоре получил очередной чек с запиской, где говорилось, что заказчик остался крайне доволен, а семечки погружены в рефрижератор, чтобы по весне быть высаженными в почву. А еще через месяц пришло новое задание – теперь, по заказу бывшей школьной учительницы, выигравшей в Бельгии в национальную лотерею (Густав счел необходимым сообщить эти детали), нужно было ехать в Могилев разыскивать дом купцов Залкиндов – и тоже, что характерно, собирать образцы местной флоры: отчего-то эмигрантам требовалась для услаждения души не просто березка как таковая, а именно кровная родственница той березки, которая для них символизировала то недоступное, что осталось в России. С тех пор поток заказов сделался регулярным. Никодиму иногда казалось, что все это – недостоверное прикрытие для каких-то тайных и не вполне законных операций, но сколько он ни ломал голову, не мог придумать, каким образом фотографии заброшенных или, наоборот, вполне действующих зданий могут заинтересовать какую-нибудь, хотя бы минимально могущественную спецслужбу. Ничего похожего на военный завод или плотину никогда не попадало в его опасливый объектив; маленькие сувениры, которые иногда его просили привезти, имели сугубо мирный характер и грошовую стоимость – оставалось только поверить, что они с Густавом действительно служат «маленькими помощниками Мнемозины», как тот иногда, после третьей кружки пива, имел обыкновение выражаться. Совместная кружка эта выпадала им нечасто, но регулярно: иногда искомый сувенир был таких габаритов, что его проще было привезти вручную, чем объясняться на почте, – однажды, например, это была собачья будка с обрывком цепи – куда заказчик, будучи дитятей, сбегал от тирана-отца к своему единственному другу, сенбернару Барри. Иной раз вместо семечек заказывали саженцы, которые, в свою очередь, отказывалась принимать почта, – и тогда Никодиму приходилось тащить их на себе, выпуская отары барашков в бумажках перед каждым постом карантинной службы. И вот теперь появление нового конверта означало, что в ближайшие дни он наверняка будет занят: с одной стороны, это останавливало поиски, в которые он мысленно уже плотно погрузился, а с другой, отвлекало от одолевавших его мыслей. Придерживая локтем книжку и надрывая по пути конверт, он поднялся на свой этаж и открыл дверь в абсолютно темную квартиру.

14

Обитель Никодима была устроена, как мир в «Трех богатырях»: направо кухня, прямо гостиная, налево спальня; он зажег свет в прихожей, потом обошел все комнаты, последовательно освещая их: не то чтобы он боялся, что кто-то (или что-то) поджидает его там, но просто не любил темноты. Обстановка больше всего напоминала гостиницу среднего уровня: вполне сознательно, поскольку именно отельный быт нравился ему больше всего: ничего лишнего, зато откуда-то берутся чистое белье и полотенца. Конверт и отцовское «Несобранное» по-прежнему зажаты были у него в руке, он прошел на кухню, чувствуя одновременно облегчение от отсутствия Вероники и легкую жалость оттого, что этот вечер придется провести в одиночестве. Из морозильного шкафа он извлек пачку замороженных норвежских лангустинов, на их место положил бутылку пива, поставил на плиту кастрюлю с водой. Газовый синеватый венчик, вспыхнув, плотно облек чело конфорки. Отложив в сторону том Шарумкина, Никодим вскрыл письмо.

Заказ был довольно мудреный, но, впрочем, не выходящий за рамки обыденного: основная проблема состояла в том, что бывшая усадьба была разрушена самим владельцем при его спешном бегстве. Стояла она уединенно в лесу, довольно далеко от человеческого жилья. Таким образом, требовалось добраться до ближайшей деревни (что само по себе казалось задачей небанальной), там, основываясь на довольно динамических приметах («перейти по мосткам старое русло» etc), отыскать руины бывшего дома, причем среди руин требовалось опознать развалины башни, поскольку заказчика, состоявшего в неясных родственных отношениях с покойным владельцем, интересовала именно она. Эту башню, вернее, то, что от нее осталось, нужно было тщательным образом запечатлеть. Сопоставимо непростой была и ботаническая часть задания: требовалось отыскать остатки грядки с лекарственными травами, располагавшихся неподалеку от господского дома, провести общую ревизию того, что там росло, после чего – и самое главное – собрать несколько желудей старого дуба, росшего на одинокой могиле (так и было написано) на северо-западе от жилого комплекса. Густав, тщательно сформулировавший все это (Никодим, избавленный от общения с клиентами, понимал, что сам он получает информацию в дистиллированной и обеззараженной форме), приписал от себя: «Держись! Гонорар не разочарует». Не может ли Густав быть его отцом? – подумал вдруг Никодим, но сразу сам себе ответил несколькими неопровержимыми доводами: прежде всего он не подходил по возрасту – Никодиму недавно исполнилось двадцать семь, а Густаву, судя по внешности, едва перевалило за сорок. (Впрочем, – подумал он в скобках, – не мешало бы спросить у матери, не встречался ли ей в жизни очень, очень высокий человек.)

Он позвонил ей и услышал, как она со вздохом приглушает телевизор. «Что ты думаешь о высоких мужчинах?» – спросил он, едва поздоровавшись, и только потом сообразив, что прозвучало это грубовато. «Что их гробы несут вшестером, а не вчетвером, – отвечала мать мрачно. – А в чем, собственно, дело?» Никодим не отвечал, не зная, как подступиться к делу. «А, кстати, мой отец...» – начал было он, но она резко прервала его: «Хватит, я уже жалею, что заговорила об этом». – «Я не о том хотел спросить: ты никогда не хотела завести собаку?» – «У меня аллергия на шерсть и на idiotские вопросы тоже», – отрезала она и положила трубку.

Всякому, кому случалось есть лангустинов, известно, что эта процедура полностью несовместима с чтением, так что открыть отцовскую книгу Никодиму удалось только после ужина. Следующий рассказ, «Тихая Сапа», был про человека, который воплотился в реальности из бланков-образцов, развешанных в присутственных местах: звали его, естественно, Иван Иванович Иванов, лет ему было одновременно восемнадцать и шестьдесят, поскольку он то призывался в армию, то ходатайствовал о пенсии, и вел он чрезвычайно активную жизнь, которая по мере повествования как-то заворачивалась воронкой или смерчем: он женился, разво-

дился, брал кредиты и организовывал концессии, но в результате вдруг оказывалось, что он, сделавшись полуслепым, ищет жену на пляже при помощи металлоискателя и, будучи одностопным, долго и тщетно дает объявления в брачную газету, надеясь найти ампутанта без другой ноги, чтобы ради экономии покупать одну пару обуви на двоих... Тут Никодим понял, что давно уже задремывает, так что не может даже отличить, что из пришедшего ему на ум было порождением его собственной фантазии, а что – отцовскими затейливыми ювенилиями. Нетвердо ступая, он добрал до спальни, разделся и провалился в тяжелый сон.

Снилось ему, что он лежит как бы спеленутый, по крайней мере почти полностью обездвиженный, в каком-то подземном ходе в глубине горы и почва вокруг него источена десятками и сотнями подобных ходов, в которых медленно ползают белые личинки человеческого размера, вроде египетских мумий, но только подвижных. Откуда-то он знает, что они слепые, но очень чуткие: ему не нужно их бояться (они ничего не могут сделать ему дурного), но какое-то густое чувство отвращения заставляет его прятаться от них. Он чувствует, что тоже может ползти, тихонько извиваясь и как бы ввинчиваясь в подземный ход, но с медленностью, несоизмеримой усилиям, – и все-таки ползет, на каждой развилке (а под землей на его пути много развилок) поворачивая налево и вверх. Умом он знает, что вниз ползти было бы проще, но кажется ему, что там и проход поуже, и как-то темнее (хотя и окружает его крошечная тьма), и чудится некоторая пугающая его пульсация. Наконец он выбирается в помещение вроде небольшой комнаты, похожей на лабораторию, где на металлической плите кипит в стеклянной реторте какая-то жидкость; над ней – металлический конус вытяжки, оттягивающей пары. Медленно поворачиваясь, он выпутывается из своего облачения – это что-то среднее между бинтами и скафандром, сковывавшее его движения, так что может встать; все мышцы его затекли и ноют. Он подходит к плите, берет реторту и пьет: хоть жидкость и кипела, но она не обжигает ему рот, а оказывается просто горячей – это масло, причем, кажется, какое-то техническое, на вкус чуть отдающее железом. Со скрипом открывается маленькая дверь, доселе незаметная, – из нее спиною вперед, согнувшись, медленно вылезает маленькая, ростом с пятилетнего ребенка фигурка, вся закутанная в какое-то тряпье: судя по голосу, это взрослый мужчина, непрерывно повторяющий что-то неразборчивое. Никодим понимает, что это и есть его отец: тот делает движение, как будто хочет повернуться, Никодим зажмуривается, чтобы не видеть его лица, – и просыпается в холодном поту и с неистово бьющимся сердцем.

Наутро, наскоро позавтракав и выпив таблетку аспирина (голова, заболевшая ночью, до сих пор не прошла), он стал поглядывать на молчащий телефон, пытаясь взглядом его расшевелить. Можно было бы позвонить матери, и неплохо было бы переговорить с Вероникой, но, по здравом размышлении, он оба эти звонка отложил: это было вполне в его свойствах – тяготясь одиночеством, организовать себе какую-нибудь встречу или хотя бы телефонный разговор, во время которых немедленно начать изнывать от нарастающей неприязни к ни в чем не повинному собеседнику. Тем более что, благодаря вчерашнему конверту, следовало заняться и делом: взяв с полки справочник населенных пунктов Российской империи, он отыскал деревню Шестопалиху, от которой некогда начиналась тропинка к разрушенной усадьбе: она нашлась на самом краю Витебской губернии. Затем из вороха крупномасштабных карт разных губерний он извлек нужную и прикинул, сколько времени займет экспедиция, – в любом случае получалось, что нужно по Московско-Виндавской железной дороге добраться до Себежа, где теперь заканчивалось регулярное сообщение. Дальше в ход пошло расписание железных дорог: оказалось, что от Себежа в сторону деревни Могилы проложены рельсы, оставшиеся, вероятно, с прошлого века, и по ним даже ходит локомотив с пассажирским вагоном; в расписании стояла пометка «нерегул.». За годы работы Никодим накопил изрядное количество разных карт, справочников, расписаний и путеводителей, но «памятной книжки» Витебской губернии у него не было: обычно экспедиции были связаны с более южными областями. Впрочем, вспомнив, что он сегодня собирался в библиотеку, он решил заодно взглянуть там, если

получится, и на памятную книжку: в ней могло оказаться расписание местных рейсов, да и вообще что-нибудь полезное для разысканий. Сунув бумажник в карман пиджака, он проверил, закрыты ли окна, взяты ли ключи, выключена ли плита (вечная привычка, заставлявшая его регулярно делать по два-три фальстарта перед тем, как все-таки выйти из дома), и направился в сторону метро. Том сочинений его отца остался лежать на столе, может быть и желая подойти к зазвонившему наконец телефону, но не имея никакой возможности это сделать.

15

Уже подходя к библиотеке, Никодим вспомнил, что не взял с собой ни блокнота, ни карандаша, чтобы выписать из отцовского интервью то, что могло бы ему понадобиться: предусмотрительности хватило лишь на то, чтобы скопировать из статьи Покойного дату и номер нужной газеты. Как обычно бывает, рядом с Румянцевским музеем не оказалось ни аптеки, ни книжного магазина, ни лавки, где нашлись бы письменные принадлежности: вообще, переулок был на удивление заброшенный и тихий, как будто он был не в двух шагах от Кремля, а где-то в Замоскворечье, где до сих пор попадались живые герои Островского, обитавшие в приземистых, под стать им самим, подслеповатых домишках. Он был совершенно безлюден, этот переулок, – и только поднявшийся вдруг ветер закрутил маленьким смерчем столб пыли, напомнивший Никодиму забинтованную мумию из давешнего сна; пыль пронеслась вдоль улицы и опала, рассыпавшись. Темная туча напозла откуда-то сзади, со стороны Лубянки, заставив его прибавить шагу: он уже решил было, что попробует спросить пару чистых листочков и карандаш у библиотечного служителя, но вдруг увидел справа узкую приоткрытую дверь явной лавки; едва он успел зайти туда, как грянул гром и за его спиной пролились первые струи майского московского дождя.

С первого взгляда стало понятно, что блокнота здесь, скорее всего, не найдется: по всему периметру небольшой комнаты, от пола до потолка затейливо обшитой темным резным деревом, стояли невысокие прилавки, где за стеклом на зеленом бархате были выложены монеты, по преимуществу золотые и серебряные. Подсветка их была сделана так искусно, что казалось, будто источник света – сами монеты, словно испускавшие мягкое, но сильное сияние. Продавец, при виде посетителя отложивший газету (Никодим успел заметить, что она была отпечатана на деванагари), встал из кресла-качалки и склонился над прилавком. «Собираете?» Никодиму неловко было признаться, что он зашел сюда лишь переждать дождь, но не хотелось и обманывать, так что он отделался неуверенным мычанием. «Кстати, я придумал замечательную тему для коллекции, – говорил продавец, как будто продолжая не сегодня начавшийся разговор. – Монеты, которые были в ходу в римских колониях в годы жизни вашего Христа. – На этом месте он, как бы снисходя к чужим заблуждениям, отвесил маленький поклон. – Представляете, – случайно заполучить монету, которой, может быть, касались Его руки. Или один из тридцати серебряников». Никодим неожиданно увлекся и поднял взгляд на говорившего. «То есть никаких серебряников тогда не было, это ваш, русский, термин. – Индус опять поклонился. – Иуда, скорее всего, получил статеры или динарии. Вот, например, такие». – Он положил открытую ладонь сверху на прилавок, и ящик сам выдвинулся в его сторону, так что пришлось поддержать его другой рукой; выглядело это очень эффектно. Он аккуратно взял двумя пальцами серебряный кругляшок, внешне похожий на другие, и положил его на специальную подушечку. На монете была отчеканена крупная птица, похожая одновременно на орла и попугая; вид у нее был чрезвычайно воинственный. «Ничего не ощущаете?» – спросил продавец, приближая к Никодиму свое лицо с расширенными зрачками. «Нет», – признался Никодим, чувствувавший себя все более и более неудобно. «Тогда позвольте преподнести вам этот маленький презент». – Индус убрал монету на место и вытащил из-под прилавка красивую записную книжку в крокодиловом, что ли, переплете, к которой на золоченой ленточке был приделан маленький карандаш. «Сколько?» – спросил несколько ошеломленный Никодим. «Небольшой презент, – повторил индус, – кстати, и дождь перестал. В этом нет никакого подвоха, не беспокойтесь». Никодим пожал плечами, сбивчиво поблагодарил и выбрался на свежий воздух. Ему было одновременно страшновато, неприятно и интересно – как, по рассказам, чувствует себя спелеолог, впервые погружающийся в не описанную еще пещеру. Впрочем, при мысли о пещере ему вновь вспомнился сон, и он даже, потрясав головой, попробовал

проснуться – тщетно, если не считать того, что проходивший мимо старичок посмотрел на него с недоверием, которое делалось все сильнее по мере того, как выяснялось, что идут они со старичком в одно и то же место.

Ту же несвойственную ему обычно приветливость мир явил в отношении Никодима и в библиотеке. Немолодая служительница, умилившись, вероятно, его сравнительной юности и бесспорной неопытности, провела его большим кругом – по парадной лестнице, над которой нависал портрет фельдмаршала Румянцева (несколько расфокусированный взгляд графа указывал на неизбежность грядущего апоплексического удара), мимо пышущих золотом корешков прославленных вольнодумских библиотек – к каталожной комнате, где передала с рук на руки тому самому старичку, который сердито поглядывал на него в Староваганьковском переулке. Ныне, переодевшись во что-то форменное вроде халата, сделался он независим, деловит и относительно приветлив. «Ну-с, юноша, чем могу служить?» Никодим объяснил обе свои нужды. Выяснилось, что нужно заполнить особенную бумажку, называемую «требование», что Никодима неожиданно позабавило – настолько этот содержащийся в названии императив был противоположен той настойчивой робости, в которую обязан был погрузить читателя весь этот тяжеловесный антураж, от массивных бронзовых люстр до парадного портрета наследника цесаревича. Последний был запечатлен умелой кистью придворного художника в момент, почитавшийся тогда историческим, – когда после смерти своего родителя, последнего императора, он отказывается от коронации, предпочитая остаться в нынешнем наследническом статусе. Многолюдное полотно изображало что-то вроде искушения святого Антония, только бесы делились на несколько несмешивающихся групп – от правительства, от Государственной думы, от собственной его императорского величества канцелярии – и в середине, отвергая их посулы, стоял немолодой господин с усталым лицом, явно мечтавший поскорее убраться от этой доуки в кантон Граубюнден, где ему принадлежал уединенный замок, тщательно охранявшийся местной гвардией в красных мундирах и медвежьих шапках.

Никодим заполнил два требования индийским карандашиком, который как-то особенно уютно лег ему в руку, и, повинуясь указаниям старичка, перешел в читальный зал, усевшись по старой гимназической привычке в последнем ряду, за темный стол полированного дерева, под зеленой электрической лампой. Несколько десятков голов, склоненных над книгами в предыдущих рядах, показались ему чем-то вроде капустных кочанов, возросших на ниве просвещения, – были они неуловимо схожи: все мужские, по большей части лысоватые, а то и вовсе лысые; многие, очевидно, налившись книжной мудростью, не могли удержаться вертикально и клонились вниз. К одной была приделана пара удивительных, невиданных ушей – широкие, как у летучей мыши, розовые с синими на просвет жилками, поросшие редкой белесой шерстью, они заворожили Никодима масштабами своего бессмысленного совершенства: он готов был побиться об заклад, что владелец их как минимум тугоух, так что представляли они собой пример чистого искусства для искусства. Впрочем, на другой голове, в нескольких столах от той, что с великолепными ушами, красовался серебристый мотоциклетный шлем. Очевидно, владелец ее был человек известный и опасный, поскольку рядом с ним садиться никто не рисковал, так что вокруг сами собой образовались несколько рядов пустых столов. Никодим готов был продолжать антропологические наблюдения, но в этот момент ему принесли оба заказанных им издания. В «Памятной книжке» Шестопаловка отыскалась легко, но практической пользы от этого было немного: выяснилось, что постоянно в ней проживают 29 душ: 15 леди и 14 джентльменов. Ему сразу подумалось о том, как горько, должно быть, той единственной, кому не хватило пары, – впрочем, рассуждение это было схоластическим, не принимавшим в виду юниц и старух, так что Никодим его отбросил. Кроме того, при деревне имелось столько-то пахотных земель, некоторое количество крупного рогатого скота и, вероятно, без счета мелкого – но ни о том, как туда добираться, ни тем более где искать руины башни, в книге ни слова не было. Никодим отложил ее в сторону и обратился к газетной подшивке.

Это был увесистый том большого формата в картонном переплете, где были сплетены воедино все номера «Утра России» за февраль нужного года. Хотя с тех пор прошло всего несколько лет, бумага сильно обветшала, а уголки листов и вовсе обсыпались. Памятуя наставления старичка о бережном отношении к библиотечному имуществу, Никодим с преувеличенной, почти комической осторожностью стал медленно листать подшивку. Неприятное чувство приближения к чему-то, чего ему не следовало бы видеть, вдруг охватило его, но он его быстро прогнал. Газетные листы, переворачиваясь, издавали громкое шуршание, так что на него заоборачивались. Наконец открылся нужный номер. На третьей странице под заголовком «(Не)прозаический незнакомец: первое интервью» красовалась неотчетливая фотография: мужчина в строгом костюме сидел боком к зрителю на венском стуле с гнутыми ножками, виден был крючконосый профиль, довольно длинные волосы, волной спускающиеся на воротник, и краешки белых манжет, торчащие из-под рукавов пиджака, на правой из них, очевидно, имелась запонка – металлическая, а то и бриллиантовая, запечатлившаяся на фотографии в виде искорки. Справа от него сидела довольно крупная светлая собака, положившая морду ему на колени. Пейзаж вокруг угадывался с трудом: возможно, дело происходило на большом балконе или террасе, потому что темные пятна поодаль напоминали отчасти кроны деревьев, причем каких-то не местных, а скорее тропических; горизонт же терялся в тумане. Само интервью занимало две трети страницы и переходило на следующую; Никодим открыл свой блокнот и приготовился записывать.

Непосредственно стенограмме диалога было предпослано короткое редакционное предисловие: в нем говорилось, что корреспонденту «Утра России» впервые удалось «разговорить» (так и было сказано) «одного из самых загадочных писателей наших дней», автора таких-то и таких-то книг (Никодим отметил про себя несколько неизвестных названий), «эпатирующего публику своим демонстративным презрением к ней» и «ведущего затворнический образ жизни, причем по большей части в глуши». Сообщалось, впрочем, что интервью взято было в Москве, где писатель ныне проживал, по его словам, «по партикулярному, совершенно частному делу». Далее следовали вопросы корреспондента и ответы Шарумкина, напечатанные как реплики в пьесе или катехизис.

«К. Как бы вы сегодня предпочли, чтобы к вам обращались?»

Ш. Неплохой вопрос. Крещен я, как вы, вероятно, знаете Агафьей, но можно ли жить с таким именем? Я представлялся Арнольдом во Франции, Анри в Германии, но обстановка здесь располагает к протестантской простоте: давайте я буду Альбином.

К. В вашем романе «Annus Mirabilis» существенную часть занимают видения лошади, ходящей с завязанными глазами и вращающей жернова молотильной машины: то ей кажется, что она лошадь Наполеона, везущая своего всадника мимо салютующих войск, а иногда ей представляется, что она – один из коней Апокалипсиса. Какой из четырех имеется в виду?»

Ш. Неглупо, барышня, совсем неглупо. Мне представлялся вороной конь, потому что в другом месте мой бедный холстомер явно страдает от недокорма, приговаривая в такт своему неостановимому ходу «ов-са, ов-са». Но сейчас, еще раз прислушавшись, я думаю, что, может быть, и рыжий. Помните ли на монохромной – естественно – гравюре Дюрера ту особенную конскую усмешку, с которой один из четверых несет свою нетяжелую ношу? Что-то в этом роде мне и представлялось, да. Дальше, пожалуйста.

К. Как вам удастся заставить своих героев быть живыми? Вы можете заставить их делать то, что им не хочется?»

Ш. Послушайте, если все корреспонденты похожи на вас, то я зря, кажется, отказывался от встречи с ними (смеется). Это немного напоминает создание Голема, например, или Галатеи... Вы обратили внимание, как они созвучны. Надо бы подумать над романом «Голем

и Галатей», конечно... и чудовище Франкенштейна, завистливо подглядывающее из-за занавески (смеется). Вам случалось видеть, как потрошат дохлую курицу?

К. А при чем тут курица?

Ш. Так случалось или нет? Не когда она в лавке лежит, имея внутри себя весь свой внутренний мир: чистое сердце, лебединую шейку и печень без эпитета? А настоящую, в деревне, с отрубленной головой и только что ошипанную?

К. Я никогда больше не буду есть курицу.

Ш. Ну и зря. Вы сейчас одной фразой лишили тысячи птиц последней надежды. Так вот, внутри у нее – специальное такое явление, заготовки для будущих яиц, вроде виноградной грозди, но с последовательно уменьшающимися ягодками. Каждый из нас носит в душе что-то в этом роде, сонм нерожденных личностей, неразвившихся характеров. Сочинитель некоторого склада умеет освобождать на время авансцену своего сознания, чтобы дать шанс одному из этих эмбрионов, сам же спускается в зрительный зал с блокнотом».

Никодим перевернул страницу блокнота и отложил карандаш: руку с непривычки свело писчим спазмом. В первых абзацах не было сказано ничего, что могло бы навести его на след (кроме чехарды имен, которую следовало бы обдумать: сам он по метрике был Александровичем, но теперь это представлялось неважным). Но если предположить, что реплики отца были записаны стенографически, а что-то ему подсказывало, что так оно и было, сами интонации его фраз действовали завораживающе. Он неожиданно ощутил резкую, хоть и явно запоздалую ревность к корреспонденту: он не только сидел напротив отца, свободно говорил с ним, спрашивал о чем хотел, но и удостоился даже отцовской похвалы: ощущение неведомое и оттого тем более желанное. Никодим не знал, был ли смысл в копировании интервью, но отчего-то ему казалось это безусловно благим и нужным делом: вряд ли он собирался при перечитывании найти там скрытый смысл, но даже сама усталость в мышцах кисти была ему приятна.

«К. А когда их несколько?

Ш. Тогда ты, как режиссер, расставляешь их по сцене и мысленно командуешь импровизировать. Ну или, как дрессировщик, рассказываешь по тумбам – и проходишь с осторожностью мимо, чтобы не получить когнитивной лапой между лопаток (поглаживает собаку). Расшевелить их бывает трудно, но потом как разойдутся – только успевай записывать.

К. В вашем первом романе...

Ш. (перебивая) ...моего первого романа никто не видел, равно как и второго, и третьего. Я их полностью сочинил, от первой до последней фразы, со всеми деталями, сценами, сюжетными линиями и лирическими отступлениями. Я знал каждую реплику, а во втором из них – каждое подстрочное примечание. Там было много примечаний. Да что там, он весь практически состоял из примечаний. Так вот, а потом я их уничтожил, один за другим. Не стал записывать, а просто стер из памяти.

К. Вы так можете?

Ш. Да, конечно. Да и любой человек так может, иначе все сознание быстро оказалось бы забитым горестными воспоминаниями, так что мы были бы обречены лежать с закрытыми глазами в позе эмбриона и тихонько подвывать, за отсутствием места в голове для новых впечатлений. Да, могу. Иногда мне жаль их, иногда в памяти всплывают вдруг какие-то полуразложившиеся обрывки. «Собака ничего не гарантирует», – например. Какая собака, почему? Ничего не помню.

К. Почему вашу собаку зовут Тап?

Ш. По-нашему это означает «друг».

К. Это на каком языке?

Ш. На одном из малораспространенных в наше время и в этой части земли. Вы закончили, я могу идти?

К. Подождите, пожалуйста. Извините, если вопрос был некстати. Можно еще немного про ваши книги?

Ш. Пожалуйста.

К. Сколько времени занимает у вас сама литературная работа? Мне всегда было интересно – я первый раз вижу настоящего писателя – как это бывает? Вы просыпаетесь утром, садитесь за стол, открываете пишущую машинку – и?

Ш. Ну, во-первых, машинки у меня нет. И вообще это устроено не совсем так: обычно я вечером прикидываю, в какую сторону я попрошу завтра двинуться моих героев. Потом ложусь спать, а за ночь голова что-то такое уже сочиняет свое, что надо только записать. Это примерно как сбор березового сока – особый надрез, к нему подставлена бутылка, в которую за сутки накапает граммов пятьсот. Вероятно, у более плодоносных экземпляров может быть и побольше. Кроме того, примерно с середины книги появляется один странноватый, но действующий эффект: я как будто читаю чужой роман, мне он нравится, и мне интересно, что будет дальше. Переворачиваешь страницу – а там пустота. Значит, я должен его дописать. Сажусь – и за работу.

К. А важно, кстати, что вы при этом сами читаете? То есть манера писателя, книга которого лежит у вас на прикроватной тумбочке, влияет на вашу собственную?

Ш. Нет, скорее нет. Вероятно, существуют писатели, у которых недопереваренные мозгом чужие тексты выходят крупными кусками, но применительно к собственной персоне я от такого рода опасений избавлен. То есть, если продолжать эту малоаппетитную аналогию, всегда лучше питаться хорошо, в том числе и в литературном смысле. В частности – поменьше современной литературы, побольше Локка.

К. Джона?

Ш. Ну хотя бы Уильяма.

К. А все-таки – не можете же вы существовать в совершенно автономном мире? Кто-то из прошлых гениев был для вас важен?

Ш. Знаете – есть писатели типа пчелки и есть типа буренки. Первые существенно зависят от круга чтения, литературной школы, извивов собственной биографии и даже, прости Господи, мнения критиков – так пчелиный мед различается в зависимости от цветка-медоноса: липовый не спутать с гречишным. А мы, коровки, устроены иначе: даже самый тонкий дегустатор не скажет, питалась авторша молока клевером, сеном или комбикормом. Если, конечно, она не закусила каким-нибудь кустиком, от которого молоко горчит. Так и я: никаких телевизоров, никаких газет, никаких современных писателей, – горчат.

К. Ну хорошо. А что касается прототипов ваших героев: как они относятся к тому, что вы их описываете в романе?

Ш. Кто например?

К. Скажем, Никодим из «Незадачливого почтаря».

Ш. Ну, поскольку прототипом этого воображаемого персонажа послужила другая личность, тоже созданная мною, то, кажется, им удалось договориться между собой, чтобы не таить взаимной обиды, но если что – я справлюсь с тем, чтобы развести их по разным углам. Но вообще я стараюсь избегать прямых изображений реально существовавших лиц – я не маляр и не конкурент фотографу, а желание иных наших современников проехаться в вечность дилижансом моей прозы, да еще не заплатить при этом за билет, представляется мне наивным и не слишком милым. То избранное население, что порождено моим сознанием, намного симпатичнее земнородных, которые окружают нас. Может быть, за редким исключением.

К. Критика часто упрекает вас в отсутствии в романах современных деталей, примет сегодняшнего дня и равнодушии к гражданским вопросам. Это и в самом деле так?

Ш. Относительно так называемых гражданских вопросов – почему же, я не могу сказать, что я к ним совершенно равнодушен, просто у меня есть безусловно работающий способ с ними совладать. Мой нравственный камертон – прогрессивная русская интеллигенция: если она по поводу какого-нибудь человека или явления противно верещит, то, скорее всего, дело это стоящее и человек приличный. Если же, напротив, что-то приводит ее в восторг, то, скорее всего, – дело дрянь, а на персонаже пробу негде ставить. Впрочем... впрочем, кажется, Тату первому надоела наша затянувшаяся беседа, так что мы вынуждены откланяться.

К. И напоследок еще один вопрос».

Последний вопрос на страницу не уместился, так что Никодиму пришлось отложить карандаш и двумя руками взяться за страницу с замахренным краем, чтобы ветхая бумага не порвалась от напряжения. Толку от прочитанного было немного, если оценивать узкопрактический смысл: о биографии Шарумкина, не говоря уже о нынешнем его местонахождении, Никодим знал ничуть не больше, чем до визита в библиотеку, но отцовские интонации ему понравились – его ершистость, обидчивость, метафоры казались ему не просто симпатичными, а какими-то внутренне уютными, как кадры позабытой фильма, которую смотрел в детстве и теперь с первыми титрами припоминаешь, убедительно предвкушая полтора часа гарантированного удовольствия. На обороте третьей страницы уместилась единственная реплика Шарумкина («Нет, извините, я не могу подвести своего пса») и подпись корреспондента: «Беседовала Вероника Липанова». Карандашик покатился к краю стола, задержался на секунду и с металлическим стуком свалился на паркетный, до блеска натертый пол.

В первую секунду Никодима больше всего поразило то, что Вероника явно старалась, готовясь к интервью и стилизуясь под манеру Шарумкина: почему-то это оказалось для него болезненнее всего. В их обычном быту ее насмешливое (хотя и вполне добродушное) безразличие к его привычкам и желаниям принималось им как должное: он осознавал, что в любом, дружеском или любовном, союзе один больше дает, а другой больше получает. Но вот эта мгновенная готовность интонаций нежного подлаживания к собеседнику, неподдельный (или умело имитированный, что, в сущности, одно и то же) интерес, легкость извинений и даже какое-то умственное кокетство, оставшееся, как полагал Никодим, за пределами запечатленного текста, но какими-то отблесками проникшее в синтаксис ее реплик, – все это потрясло его даже больше, чем он мог себе представить. Чувство, ошеломившее его, не было ревностью, хотя живое воображение охотно приложило к сюжету матрицу кровосмешения и слегка распарало эту ранку. Никодим посмотрел еще раз на дату выхода газеты (от череды переживаний она немедленно выпала из памяти): оказалось, что напечатано интервью было через несколько дней после их с Вероникой достопамятной встречи. «А не могло ли быть, – проревел кто-то срывающимся голосом у него в голове, – что отец попросил Веронику приглядеть за ним». Впрочем, версия эта могла появиться только в разгоряченном воображении, не говоря уже о том, что непонятно было, как к ней относиться: как символ отцовского неравнодушия она была скорее утешительной, но вообразить, что несколько последних лет он делил ложе со своей недобровольной нянькой, было бы ощутимым ударом для самолюбия. Интерес Вероники к Шарумкину был из текста очевиден, но какого рода было это неравнодушие? Азарт от заведомо невыполнимого редакционного задания? Интерес читательницы к своему кумиру? (NB: Никодим не припоминал, кажется, ни единого разговора с Вероникой о литературе, но это ничего не значило: она, не обольщаясь по поводу его познаний в предмете, могла просто не касаться некоторых тем.) Осторожное любопытство юной барышни к немолодому джентльмену, запрограммированное, кажется, безжалостной природой для каких-то своих таинственных целей: возможно (думал Никодим, привыкая постепенно рассуждать в отцовской манере), в эпоху

кроманьонцев тогдашние тридцатилетние старики были носителями особо ценного генетического материала – ведь что-то позволяло им остаться в живых. Никодим представил себе Веронику, свою Веронику в объятиях Шарумкина и его замутило: честный детектив оборачивался греческой трагедией, о чем на обложке и в аннотации не было ни слова.

Первым его побуждением было спуститься в холл и попросить у привратника разрешения позвонить по городскому номеру – но, вообразив себе возможное начало разговора, он понял, что идея эта неразумна. То есть поговорить с Вероникой, безусловно, стоило, но стратегию надо было обдумать заранее, чтобы, грубо говоря, створки раковины не успели замкнуться. В той же детской энциклопедии, бывшей, как оказалось, для Никодима важнейшим источником познания окружающего мира, был рассказ про каких-то гигантских моллюсков, вроде устриц, увеличенных в тысячу раз, которые, перепугавшись, могут зажать раковиной руку или ногу ныряльщика, который, таким образом, оказывался обречен: нервному двустворчатому, чтобы успокоиться и расслабиться, требовалось минут пять, а за это время прикушенный им бедолага уже отправлялся настраивать арфу на небеса. Это же ощущение смутной опасности, которое должно было постоянно сопровождать погружающихся в изумрудную воду тропических морей, сейчас овладевало им – следовательно, стоило бы все заранее обдумать. Для этого нет способа лучше, чем несколько затяжек – и Никодим, хотя и куривший редко, но сигареты и спички с собой исправно носивший, привстал было, чтобы разыскать служителя и спросить у него про курительную комнату, как увидел, что на светлой бумаге лежащего перед ним газетного номера вырастает чья-то массивная тень.

Сперва этот господин (язык не повернулся бы назвать его гражданином или мужчиной, хотя он, несомненно, был и тем и другим) показался ему незнакомым: невысокого роста, лет шестидесяти, белокурый, заросший светлой кудрявой бородой, он был одет во что-то странное, что хотелось именовать камзолом, – сложносроенный костюм с блестящими круглыми пуговицами и белоснежным отложным воротником. В уличной толпе он казался бы беглым актером или безумцем, но здесь, среди темных полок и горящих золотом книжных корешков, он смотрелся вполне органично. Он подходил к Никодиму, держа обе руки полусогнутыми на уровне груди, – так что явно был готов, в зависимости от накала встречных чувств, обратить жест в рукопожатие или объятие. Незнакомый господин прокашлялся тихим, почти женским смущенным смешком – и был тотчас узнан: это оказался Илларион Петрович Малишевский, некогда преподававший Никодиму изящную словесность. В стенах гимназии был он холоден, величав, надменен, но, впрочем, и одевался куда менее творчески – а ныне, очевидно находясь в более соприродной ему обстановке, дал волю чувствам.

Заметив, что Никодим сжимает в руке пачку «Сафо» и спички, тот вызвался быть его, как он выразился, дымным Вергилием и проводил системой лестниц и коридоров (преодолев которую Никодим мельком подумал, что самостоятельно ему отсюда не выбраться) в аккуратную курительную комнату, где горестно выл вентилятор, как будто он заблудился в зимнем лесу, предварительно потеряв всю свою семью, и под самым жерлом вытяжки курила, нервно затягиваясь, худенькая барышня в сером халате. Илларион Петрович поинтересовался, чем он обязан приятности сегодняшней встречи. Никодим, не без усилия стараясь попасть в тон, сообщил, что кое-какие дела совершенно партикулярного свойства потребовали справки в первоисточниках. Собеседник его, посетовав на дурную память и природную рассеянность, переспросил, не ошибется ли он (как это свойственно его ровесникам вообще, а ему в особенности), предположив, что сфера обычных интересов Никодима лежит далеко от ученых занятий. Никодим подтвердил, добавив, что если бы все обладатели суконных рыл, наподобие его, Никодимова, отправились бы вдруг в калашный ряд, то в этом ряду сделалось бы тесновато. Это высокопарное фехтование начинало Никодиму нравиться, когда Малишевский, признав, очевидно, техническую ничью, вернулся вдруг к обычному тону, но, не сумев удержать разговор (собственно, не так много было у них общих тем), съехал в другую колею, начав перебирать быв-

ших Никодимовых одноклассников. Такой-то поступил в Государственный контроль, – перечислял он, как будто декламируя школьный адрес-календарь, тот-то дипломатом в Парагвае, этот выпущен из кадетского корпуса в N-ский полк... Никодиму это напомнило чтение списка действующих лиц большой пьесы, но вот только само действие-то уже кончилось: ему не то что была неинтересна судьба бывших товарищей, но их жизненные успехи он, будучи на их фоне почти неудачником, воспринимал как завуалированный упрек в свою сторону, а это было неприятно. С другой стороны, думал он, давно докурив и только ожидая случая вернуться в читальный зал, упрек этот можно обернуть и назад, то есть, практически вырвав у соперника папиру, его же ею и заколоть: видно, плохо вы меня учили-с, Илларион Петрович, если все другие уже при чинах и орденах, а я один посиживаю в библиотеке-с. «Медников открыл новый вид пиявки, *Nephelis Mednikovi*, – продолжал Малишевский, – Еркович организовал курсы языков для грабителей». – «То есть?» – «Ну например, приезжаете вы в незнакомую страну и хотите ограбить банк. Влетаете с пистолетом и в полумаске, а как сказать: это налет, быстро деньги в сумку кидай, сестренка, и давай ее сюда? Вот этому он и учит». Никодим потряс головой. «Иберсон вышла замуж, но неудачно, муж оказался игроком и пьяницей. – Никодим почувствовал иррациональную вспышку симпатии к бедной Иберсон, которой совершенно не помнил – тугая коса? очки? обгрызенные ногти?). – Крутицкий – инженер-железнодорожник, далеко пойдет, Фаворская на папины деньги открыла модную лавку и процветает, Бельцова пропала». «Как пропала?» – Эту Никодим помнил: бойкая хохотушка с удивительными способностями к иностранным языкам погружалась иногда в периоды тяжелой меланхолии, когда неделями отсутствовала в классе и возвращалась похудевшая, бледная, с забинтованными руками, – спустя же несколько дней все было по-прежнему. «Пошла с друзьями в поход, ночью вышла из палатки – и всё. Больше года уже прошло. Зульцер вернулся к нам и преподает. Краснокутский, – здесь Илларион Петрович хищно усмехнулся, – заделался писателем». «Что пишет?» – равнодушно полюбопытствовал Никодим. «Я такого не читаю, – надменно отвечал Малишевский, – но любителям нравится, так что в самых высоких кругах принят и обласкан». Никодим, которому пришлось бы очень кстати союзник, знающий литературный мир изнутри, наострил уши. «А все-таки, еще про Краснокутского?» – «Я что-то не припомню в вас такого интереса к изящной словесности», – надменно проговорил Илларион Петрович и засобирился прочь. Никодим, чтобы не потерять дороги, увязался за ним. Барышня в сером халате прикурила одну папиросу от другой и улыбнулась своим мыслям.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.